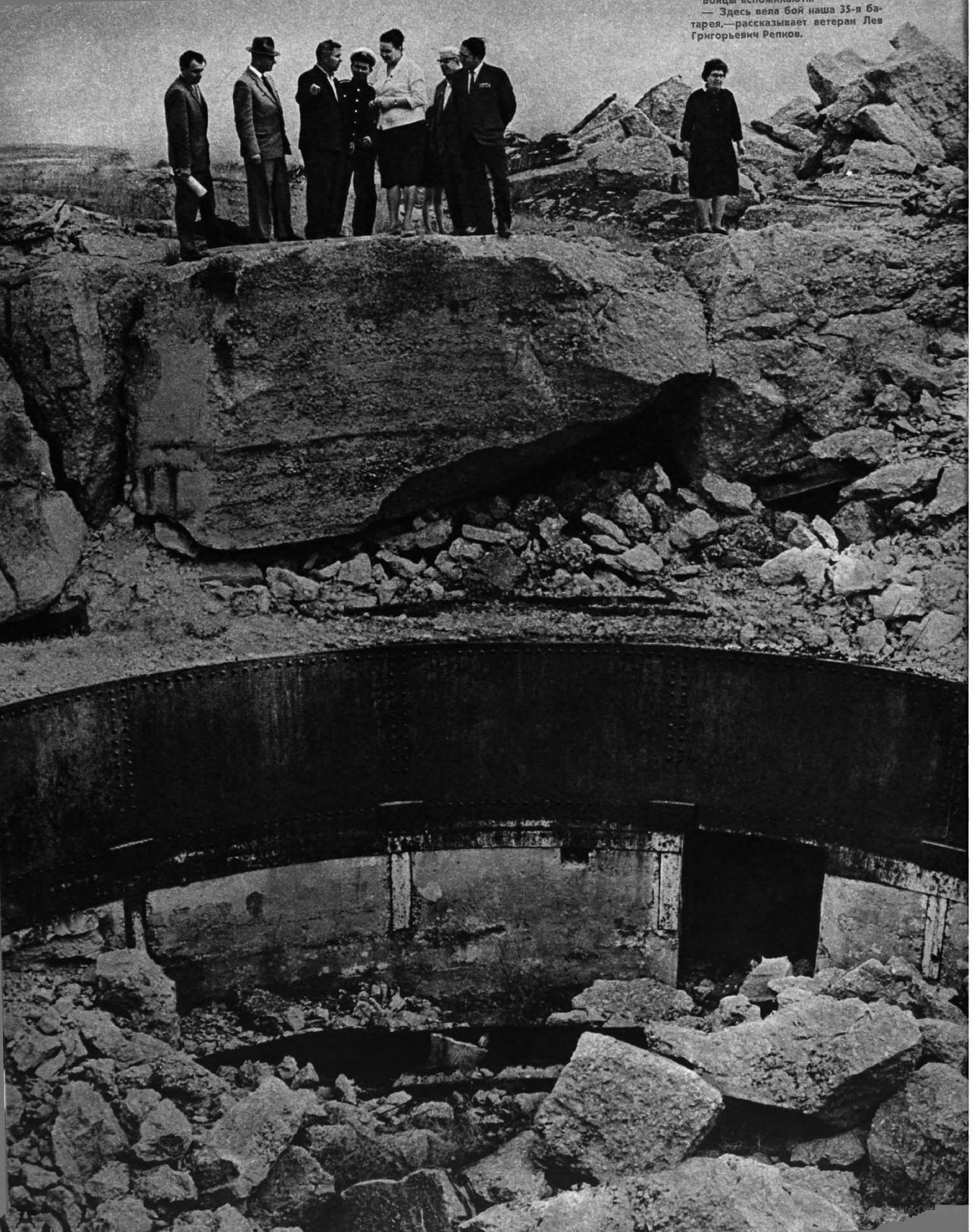

ОГОНЁК
№ 44 ОКТЯБРЬ 1966
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»



Бойцы вспоминают...
— Здесь вела бой наша 35-я батарея,—рассказывает ветеран Лев Григорьевич Репков.

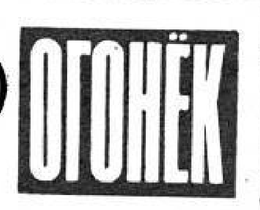
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

№ 44 (2053)

30 ОКТЯБРЯ 1966

44-й год издания





РЫЦАРИ СЕВАСТОПОЛЯ

Николай БЫКОВ

Фото А. БОЧИНИНА.



◄ Священная земля и ржавые сувениры 1941 года.

В этом городе я впервые. Для меня все впервые: его века, его слава, его трагедия, его песенная красота. И его люди. Одно дело — слышать обо всем этом, другое — глотнуть горького воздуха пригородной степи, пройти проспектом комбрига Горпищенко... Город, дважды переживший за последние сто лет натиск и ярость нашествия, овеян славой неприступной крепости. Он не сдавался — его брали силой. Прижатый к морю, он получал смертельные удары с суши. И снова стряхивал со своих плеч хваткие лапищи врагов. И тогда неизменно рождались легенды о его защитниках, его освободителях. Одну из них мне успели скороговоркой изложить перед самым отъездом в Севастополь:

— Разузнай о панцирях! Рассказывают, будто шли матросы на врага в панцирях, в непробиваемых! Какой материал для тебя!..

Были матросы... Тогда их называли краснофлотцами. Были атаки и контратаки. И шли краснофлотцы, и бежали вперед, и ползли, и зарывались в землю... Все было, а вот непробиваемых панцирей не было. И рвали пули героев в тельняшках и в потных гимнастерках. Из многих тысяч в живых остались сотни. Зато мы охотно пересказываем старые и сочиняем сами новые легенды о защитниках Севастополя.

...Трубит трубач — тоненько и нетревожно. В бухте стоят корабли. Там бьют вечерние склянки, и видно, как бегут и строятся возле башен едва различимые с берега фигурки в белых робах. Кто-то свистит в дудку. Догадываюсь — боцман. А на берегу — шашлычная с эстрадой, громкая музыка и дружно вспыхнувшие в светлых сумерках огни. И севастопольцы на бульварах. С крутых улиц стекаются пары к набережной, туда, где шлепается о камень тяжелая вода. Смотрят на залив, перегороженный буями, на далекое море, слушают накаты шума разыгравшейся в бухте волны. Обыкновенный вечер теплого октября. И теперь уже трудно — во всяком случае, мне — представить, что здесь было двадцать пять лет назад, в октябре 1941 года.

...Мы пришли на место бывшей 35-й батареи. Мичман Карпов, хозяин весьма радушный, за шлагбаум до приказа командира не пускал. Мичман Карпов охотно соглашается, что нельзя, будучи в таком городе, не осмотреть мест былых боев («Воспитание на традициях, мы понимаем»), и так же охотно сопровождает нас до самого моря. А мы все лезли и лезли напролом через заросли высоченного (и, конечно, вспомнили Льва Толстого сочинение) татарника, через травы, сухие и жесткие. Вокруг камень, разметавшиеся куски бетона — остатки старых укреплений — и степь, степь. Желтая, полынная, а потому горькая. И вдруг — шаг шагни — обрыв над морем. Круча, рваная и страшная. Внизу Голубая бухта, туши тупорылых снарядов под лазоревой тихой водой, дыбятся ржавые остовы немецких машин, нависают над маленьким пляжем ржавые фермы — следы пирса. Здесь для одних — сумевших уйти в море — начиналась вторая жизнь, для других — для большинства — был конец. Камень летит к воде долго-долго и шлепается в воду неслышно. Здесь обрывается севастопольская земля, обрываются разом белые, как кости в бурьяне, степные дороги; земле остается горечь полыни, а морю все остальное—простор, и ветер, и надежды...

Отошли от обрыва подальше. Между прочим, мичман Карпов рассказал:

— Старушки сюда часто приходят. Одна тут сядет, другая там сидит, третья вон там, еще там... Матери все. Здесь нигде ни бугорка могильного, ни тебе памятника. Одно скажу: степь, голо. А вот они приезжают, видать, знают про это место. Тут, на мысе, севастопольцы держались до последнего патрона, а костей тут—страшное дело, и матери, значит, своих не забывают. Приедут и сидят. Там старушка, там... Смотрят чего-то, молчат. Пройдешь мимо — ничего, не плачут. Я интересовался, откуда — из Ленинграда, со всей Украины, бывает издалека, с Урала... Много. Вот я покажу, тут наши матросы сделали вроде братской могилы погибшим на тридцать пятой батарее, чтобы, значит, было место, где цветы положить, голову приклонить. Сделали, как могли. А заборчик, это от коз да овец — степь тут...

Ветераны обороны Севастополя, с которыми приехали мы на мыс Херсонес, молча слушали мичмана. В Севастополе много памятников, только нет памятника тем, кто его защищал в октябре — декабре 1941 года, кто трагически погиб летом 1942-го... Мария Карповна Байда все не могла сначала понять, где был пирс, тот, последний, где взлетел от бомбы деревянный настил, ведущий к этому пирсу, потом перестала расспрашивать, оставила нас дослушивать мичмана, а сама ушла вдоль обрыва. Она уходила все дальше и дальше вдоль неверного края земли, а с моря наползала на берег низкая и медленная



По приглашению Президиума Верховного Совета СССР и Советского правительства нашу страну с официальным визитом посетил король Марокко Хасан II и сопровождающие его государственные деятели.

На Внуковском аэродроме гостей сердечно приветствовали Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. В. Подгорный, Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин и другие официальные лица.

24 октября король Марокко Хасан II нанес в Кремле визиты Председателю Президиума Верховного Совета СССР Н. В. Подгорному и Председателю Совета Министров СССР А. Н. Косыгину.

25 октября в Кремле состоялись советско-марокканские переговоры.

На снимке: перед началом переговоров.

Фото А. Устинова.

САЖЕНЬИ ШАГИ ПЯТИЛЕТКИ

ЦСУ СССР СООБЩАЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ СССР ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 1966 ГОДА.

В преддверии всенародного праздника — 49-й годовщины Великого Октября, обгоняя друг друга, летят с заводов, из колхозов вести о трудовых победах.

Омск. Тысячекилометровый нефтепровод Усть-Балык — Омск. Землеройные машины приступили к прокладке траншеи от Омска на север...

Душанбе. Сбор урожая на полях Таджикистана ведут 900 комбайнов. Такого количества машин еще не было на полях республики...

Магнитогорск. На металлургическом комбинате начато строительство мощного широкополосного стана «2500» холодной прокатки...

Бесконечен поток радостных вестей. И вот газеты опубликовали сообщение ЦСУ СССР, в котором как бы слились воедино все эти трудовые победы: по сравнению с девятью месяцами прошлого года промышленная продукция возросла на 8,3 процента.

Уверенна поступь новой пятилетки. Работники советской промышленности, осуществляя задачи, поставленные XXIII съездом КПСС, досрочно выполнили план III квартала и девяти месяцев 1966 года по общему объему производства и большинству важнейших видов промышленной продукции.

Вот несколько цифр, иллюстрирующих увеличение выпуска продукции по отдельным видам промышленности: электроэнергия и теплоэнергия — на 9 процентов, металлургия — тоже на 9 процентов, химическая промышленность — на 12, на столько же машиностроение и металлообработка, промышленность строительных материалов — на 10, легкая промышленность — на 9, производство предметов культурно-бытового назначения — на 12 процентов.

Как указывает сообщение ЦСУ СССР, производительность труда выросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5 процентов. Около 400 миллионов рублей составила сверхплановая экономия от снижения себестоимости продукции. Прибыль промышленности по сравнению с девятью месяцами 1965 года увеличилась на 10 процентов.

Сообщение ЦСУ указывает и на некоторые недостатки. Так, например, не полностью выполнен девятимесячный план производства химического и прокатного оборудования, электровозов, пластических масс и синтетических смол, вывозки деловой древесины.

В стране продолжался перевод промышленных предприятий на новую систему планирования и экономического стимулирования. Как сообщает ЦСУ СССР, предприятия, работающие в новых условиях, перевыполнили повышенные планы и увеличили по сравнению с девятью месяцами прошлого года объем реализации продукции более чем на 11 процентов, прибыль — свыше чем на 20 процентов, производительность труда — на 8 процентов.

Фото В. Клипиницера (ТАСС). Орско-Халиловский металлургический комбинат.

синяя-синяя туча, и еще мертвеннее белела пустынная дорога, по которой уходила высокая женщина в белом. О чем думала там, что видела там сейчас она, Мария Карповна? Герой Советского Союза, бывший сержант, разведчица, дравшаяся, когда пришлось, и врукопашную... Ушла навстречу зловещей туче, как на встречу с прошлым. Быть может, вспомнила, как тащили ее, измученную всем виденным, пережитым, моряки, как не захотели бросить ее на степной дороге, а все повторяли: «Море близко»,—как отваливали, уходили последние катера, как готовились тысячи прижатых к этому обрыву севастопольцев встретить огнем торжествующего врага, как вон там — теперь она узнала это место — застрелилась ее отчаянная подружка Таня... Потом плен, потом смерть и плен для героев Севастополя. Но это уже было много позже, летом сорок второго, а сначала надо было пережить осень 1941 года. Севастополь, оклеенный приказами и лозунгами, вступал в смертельную схватку с врагом.

К обороне город готовился заранее. Немцы споткнулись об Одессу. Подростки, женщины, все, кто мог держать лопату, рыли укрепления и противотанковые рвы на подступах к городу. Исторический опыт подсказал командованию военно-морской твердыни, что противник не в силах будет взять Севастополь с моря и обязательно попытается набросить огненную петлю с суши. Так и случилось. В последние дни августа армия Манштейна форсировала Днепр и устремилась к Перекопу. Перекоп дался им не сразу, но все же немцы в октябре ворвались в Крым. Сначала в Севастополе почти не было сухопутных войск, и моряки деятельно готовились к защите города своими силами. Во главе обороны стоял ныне здравствующий адмирал Филипп Сергеевич Октябрьский. Более 25 тысяч моряков сошло с кораблей на берег. Танков, артиллерии почти не было. Все вооружение — винтовка, гранаты да бескозырка. Ее каждый берег для последней атаки. Бескозырка была на вооружении, а вот панцирей, тех, что не пробивает пуля, не было у рыцарей Севастополя...

Определив направление вероятного наступления по дорогам, защитники соорудили первый оборонительный рубеж — дугу, охватывающую 45—50 километров. Против дорог — опорные пункты с дотами. На рубеж Чоргунские высоты, село Крепкое, село Садовое и село Суворово и вышли войска обороны.

В своих мемуарах «Утраченные победы» Манштейн говорит, что Гитлер дал ему три дня для взятия Севастополя. Наступил октябрь, немцы рвались к Москве, и больше трех дней Севастополь не имел права отнимать... Вместо трех дней немцы топтались у ворот города русской Славы двести пятьдесят!.. И это несмотря на то, что у врага были сотни самолетов и безраздельное господство в крымском небе, сотни танков против нескольких десятков наших (в том числе танками у нас считали обшитые листовой броней тракторы). А солдат у них было вчетверо больше!

29 октября 1941 года в Севастополе было объявлено осадное положение. Батарея лейтенанта Заикина встретила передовые части немцев, задержала, сбила их с ходу. На землю Севастополя обрушились тысячи тонн металла.

...Мы поднялись с Николаем Евдокимовичем Ехлоковым на кругизну Гасфортовой горы. Н. Е. Ехлоков был комиссаром 7-й бригады морской пехоты. Вот здесь моряки держали оборону. Николай Евдокимович сломал ветку боярышника с красными каплями ягод.

— Держи, на память. Вот она, кровь братишек... Заметил, как алы листья виноградников, как много красного на этой земле? Кровью напоен каждый метр севастопольской земли.

Мы стояли лицом к ялтинской дороге. Синей дымкой окутаны горы, живописны осенние леса. Оттуда ждали Приморскую армию, идущую долгим, кровавым, кружным путем из Одессы на помощь городу-брату. Но первыми пришли немцы. Справа — Балаклава, там курсанты школы пограничников стояли насмерть в первых боях. Они не стали командирами, не успели, но ни один из тех юношей не отступил... А слева — гряда высот, занятых соседними бригадами морской пехоты, чуть сзади — кряж Сапун-горы, внизу — Золотая балка, всего семь километров, которые немцы с трудом прошли через полгода.

На Гасфортовой горе гудит сухой ветер. Под ногами высохшая земля, камни, камни и ржавые следы войны — гильзы, пули, осколки, минные стабилизаторы, рваное железо... Мелкие траншеи. Николай Евдокимович вспоминает, как трудно было здесь, на этом каменистом кургане, зарыться в землю. А немцы все лезли и лезли, и поднимались навстречу им моряки и, когда было очень тяжело, доставали из-за пазух черные бескозырки... Пять раз переходила гора из рук в руки.

Самую вершину Гасфортовой горы оборонял полк Николая Николаевича Тарана, человека высокой и трагической судьбы, прошедшего сквозь страшное горнило войны, пять раз бежавшего из плена... Вот эти самые — мелкие — траншеи и занимали тарановцы; из трех тысяч человек к концу ноября осталось четыреста. До сих пор командир не в силах забыть героизм и смерть однополчан.

— Вот здесь упал капитан Харитонов, вот здесь убит комиссар бригады Руднев, здесь вот ранили нашего комбрига, здесь упал друг мой Гриша Гончаров,— рассказывает Николай Евдокимович.

А на других участках были другие моряки. 7 ноября совершили свой подвиг пять комсомольцев: политрук Николай Фильченков, краснофлотцы Василий Цибулько, Иван Красносельский, Юрий Паршин, Даниил Двинцов. Они — пятеро — остановили танки с крестами, десяток из них сожгли. Пятеро... И сгорели сами.

Старые, заросшие окопы, три километра героизма. Десятки километров героизма!.. Немцы сосредоточили до 50 орудий на километр, притащили два дальнобойных орудия аж с линии Мажино — «Дору» и «Клару». И начали второй штурм присевастопольских высот. Был уже декабрь — 18 декабря 1941 года. Гитлер накинул еще один день: приказал взять город за 4 дня!.. А бой шел до



ВЕЛИКОМУ ШОТА

Вся страна отметила 800-летие со дня рождения великого грузинского поэта Шота Руставели. Заключительным аккордом юбилейных торжеств явилось открытие в Москве памятника автору бессмертной поэмы «Витязь в тигровой шкуре». В празднично украшенном сквере на Большой Грузинской улице собрались тысячи москвичей и гостей столицы.

На трибуне — руководители Коммунистической партии и Советского правительства. Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев разрезает ленту, и под звуки государственных гимнов Советского Союза и Грузинской ССР с памятника спадает покрывало.

Памятник сооружен по проекту молодого грузинского скульптора М. И. Бердзенишвили и московского архитектора И. И. Ловейко.

В тот же день в Большом театре состоялся торжественный вечер, посвященный 800-летию со дня рождения Шота Руставели.

Фото Ю. Шаламова.



1 января нового, сорок второго года, и немцы на этот раз потеряли около 40 тысяч человек и не взяли города, и ничто не помогло им, пытавшимся доказать, что разгром под Москвой — это случайность, эпизод, что там виноваты морозы и снег. В Крыму морозы не трещали.

Наступила и прошла зима, снова была весна, и подходило лето, а враг так и не видел еще Севастополя. Три да плюс четыре дня слились, спеклись в двести пятьдесят дней славной обороны. Бились до июля. Еще не замолкла на Малаховом кургане батарея Алексея Матюхина, еще вызовет огонь на себя Герой Советского Союза Иван Пьянзин, еще заколет в рукопашном чертову дюжину гитлеровцев моряк Липовенко. Немцы шли в психическую пьяные, в одних трусах. Их косили огнем батарейцы с «Червоной Украины» Василия Ивановича Дурикова.

Мы все еще бродим по склонам Гасфортовой горы. Не перебегаем с места на место, не переползаем, а ходим в полный рост и не слышим рева орудий, грохота взрывов и дождя осыпающейся каменистой земли, не слышим истошных криков атакующих, густого и яростного вопля войны. А рядом со мной стоит человек, который видит то, чего мне никогда не увидеть, слышит то, чего я не слышу. Он держится за сердце и вглядывается в даль, потом в такую обыкновенную, ничем не богатую землю под ногами. Он только что приехал из Алма-Аты. Зовут человека Борис Александрович Кубарский. Он впервые — впервые за двадцать пять лет — здесь, с тех пор, как ушел отсюда в декабре сорок первого раненым. Он узнает и не узнает места боев, он держится за сердце и не может сказать ни слова. Тогда старшему лейтенанту было 20 лет. Он командовал батареей гаубиц. Гаубицы были сзади, в Золотой балке, а он сидел здесь, на самой вершине, за стенами беломраморной часовни итальянского кладбища. Сорок пять сардинских солдат, павших в дни Севастопольской кампании, покоились под белыми плитами. Каждому памятник. И нашим удобно — пули не достают моряков, связистов, корректировщиков. Штаб комбата капитана Бондаренко расположился в склепе, где аккуратно были сложены черепа завоевателей прошлого века. Вокруг земля кипит, а двадцатилетний комбат Кубарский высматривает новые цели, орет, полуоглохший, в телефонную трубку: «Цель... Огонь... Есть!..» Потом, когда отошли, комиссар батареи Миша Лазов говорил: «Дым, ни черта не видно: ни высоты, ни неба... Накрылся наш комбат! Телефон молчит, вдруг — связь... Нет, жив комбат!..» Миша был взрослый, ему тогда шел двадцать восьмой, а комбату было двадцать. И он был на Гасфортовой горе в ноябре и в декабре 1941 года. Это говорит о многом даже мне, видящему сейчас только виноградники Золотой балки. Поредевшую морскую пехоту в середине ноября сменили на передовом рубеже обороны солдаты прорвавшейся с боями Приморской армии. А 18 декабря началось! И вряд ли где было жарче, чем на этой ключевой высоте.

— Я тогда не знал, ключевая ли была моя позиция,— говорит Борис Александрович.— Все было проще. Нам дали сектор, мы стояли насмерть. Вон по той дороге я стрелял... Добирались до Севастополя с боями, я даже позицию в походе разворачивал. Коней побило еще раньше. Чем тащить гаубицы? С автоматом отбил у кого-то трактор, зацепил орудия цугом, так и продвигались... А тут... Высоту занимал батальон Бондаренко из 172-й дивизии Ласкина, в склепе окопались, я им по знакомству огнем помогал. Связь все время нарушалась. Я в часовне, как пожарный, в дыму. Потом, уже в декабре, числа 19-го, немцы лезли особенно зло. Наших столкнули с высоты, остались я да разведчики, да телефонисты, да корректировщики с кораблей — всего человек одиннадцать. У нас было много цинков с патронами от батальона Бондаренко. Ну, отбивались... Из окон стреляли — стены-то метровые, мраморные. Связи никакой уже. Стемнело. Я принял решение спускаться. К тому времени был ранен. Метров через сто пятьдесят — наши!.. Меня — в полковую санчасть. А потом — в район Бельбека. И там пережил третье, последнее, наступление немцев.

...Бойцы вспоминают минувшие дни. Борис Александрович перечисляет имена Михаила Семеновича Мезенцева, Володи Яковлева, комбата Пасечника, вспомнил он и девушку с Гасфортовой горы — то была Мария Байда. Да, так случилось счастливо, что они встретились через четверть века! А Федор Федорович Волончук, бывший разведчик, показывает мне на месте, где и куда рвались фашисты. А бывший секретарь горкома партии Антонина Алексеевна Сарина говорит о том, как важно сейчас сохранить память о подвиге мертвых. А Иосиф Ионович Бакши рассказывает о работе городского комитета обороны. А старый партизан Владимир Мартынович Красников вспомнил пионера-героя Юру Рацко. («Недавно нашел его останки, а рядом — монеты, которые Юра собирал, и его вальтер...») А Мария Карповна Байда напоминает о том, как дрались рядовые: «Теперь все чаще перечисляют имена командиров да номера частей, а ведь помнить надо — поименно — тех, кто ходил в атаку...» Так бойцы вспоминают минувшие дни. Имена, имена... Рыцари города-героя. Придет время, и обязательно будет памятник не только тем, кто вернул Севастополь Родине, но и тем, кто не отдал его врагу осенью сорок первого, кто не отдавал его и летом сорок второго. Но город? Разве восставший из пепла город — уцелели всего-то семь домов,— разве он не самый лучший памятник его защитникам!

И море — вечное море Севастополя! Краснолистые плети виноградников... Легенда о панцирях и наша память, наша благодарность живым и мертвым за их подвиг!

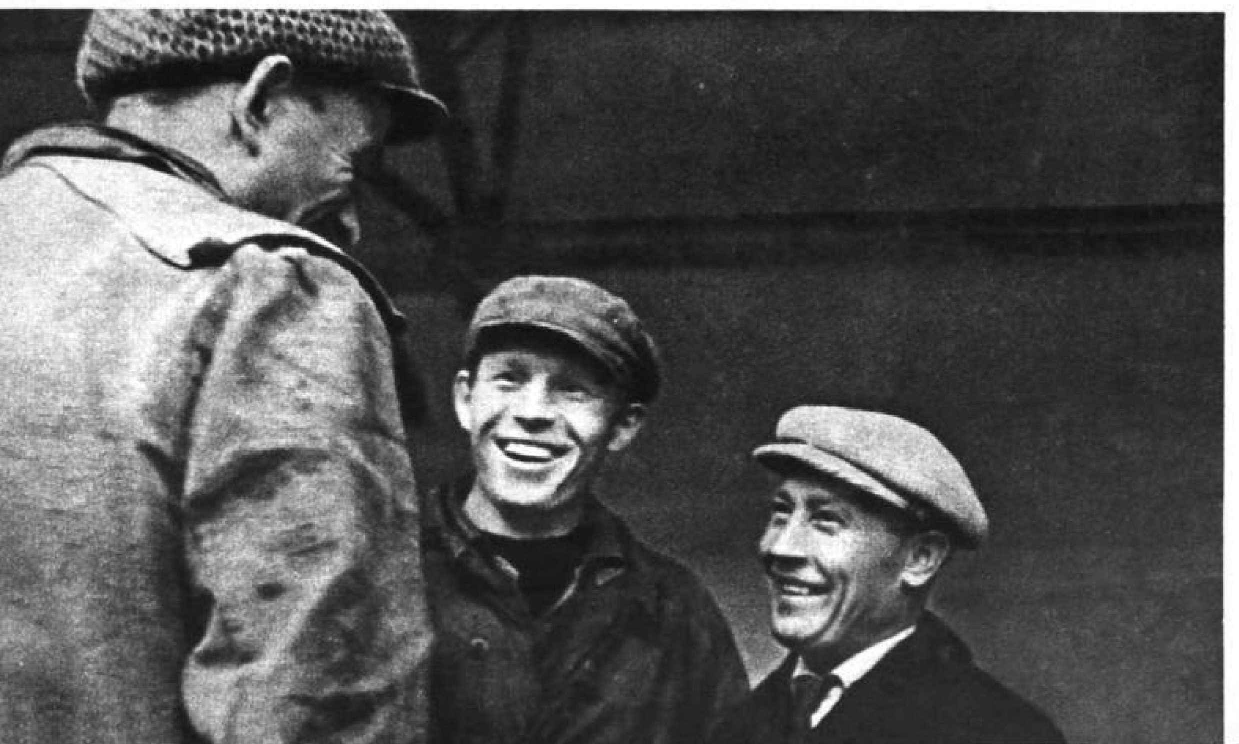
И еще — память матерей.

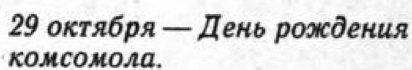
...Они приходят в степь. Каждый год — все двадцать пять лет. Садятся у самого моря. Там, и там, и там, много лет, много матерей. И с горького кургана, с палубы далекого сторожевика смотрят на них молодые матросы с автоматами на груди. И встает над ними, над землей и морем белый город славы — наш Севастополь.



Лесобиржа.

Николай Гурьев (справа) с монтажниками.





29 октября — День рождения комсомола.

ИВАНОВЫ СЫНЫ

Ю. ЛУШИН, студент факультета журналистики Ленинградского университета

Фото автора.

— Да, есть и такие, что уходят. Но мы не держим. Скатертью дорога. Остаются настоящие.

Из разговора в отделе кадров

Он ворвался в купе, веселый и шумный. Сразу стало тесно от его молодого смеха, щедрых жестов и уверенного голоса.

— Значит, и ты тоже, да? Я видел, как ты спешил. Сразу подумал: еще один. Ну и правильно, какого черта здесь делать.

Речь адресовалась явно мне. Потому что на этой крохотной станции, где поезда стоят всего-то две минуты, я был единственным пассажиром. Был. Теперь нас двое.

— Хватит. Побыли в романтиках и довольно,— продолжал он торжествующе, очевидно, считая меня своим союзником.— Прощай, Коряжма. Да что я, рыжий, чтобы грязь тут месить второй год. Ударная комсомольская... Пусть сын Ивана какого-нибудь вкалывает здесь, ходит по воскресеньям за клюквой и за грибами, а нам надоело. Верно, старик?

Впервые я посмотрел на бывшего «романтика» внимательней. Парень как парень. И все-таки...

Что меня больше всего возмутило, не знаю. То ли то, что он называл себя романтиком, то ли барское «пусть сын Ивана», или все вместе. Откуда этот снобизм? Может, маска? Или просто недомыслие? Но человек целый год работал на комбинате среди десятков тысяч людей. Неужели, кроме разочарования, он ничего не вынес? Неужели ничего не увидел? Не увидел вот ЭТОГО...



БЕССМЕРТИЕ

Его хоронили неярким сентябрьским днем. Желтые листья печально падали на дорогу. Печально играл оркестр.

Трудно говорить о человеке в прошедшем времени, если все его дела — только начатые и уже законченные — рвутся в будущее.

Есть целлюлозно-бумажный комбинат в Сегеже. Его еще в 1937 году начинал строить комсомолец Василий Остроумов. Не знаю, называл ли он тогда себя романтиком. Да и не так уж это важно. Но и спустя тридцать лет помнят там, как яростно молодой неквалифицированный рабочий постигал тайны бумажного дела, как учился сам и как, наконец, стал учить



Надежда Трещова: «А я из Тбилиси».



А мы — монтажники-высотники.

Алексей Козьмин: «Нет, отсюда никуда. Баста».

других — стал начальником цеха. Есть в Болгарии станция Кричим. Оттуда приходили письма Василию Ивановичу Остроумову от рабочих, инженеров и техников — от друзей.

«Другáрю Василий Иванович!

Нашему заводу исполняется десять лет. Вас, одного из первых его строителей, просим принять участие в праздновании.

От имени коллектива директор ЦБК имени Ст. Кираджиева».

Есть здесь, в Коряжме, две первые очереди Котласского целлюлозно-бумажного комбината. Растет рядом новый, современный город. Депутата поселкового Совета Василия Ивановича Остроумова тут будут помнить всегда. Скоро на одном из новых домов появится табличка: улица В. И. Остроумова. Завтра секретарь парткома будет кричать в телефонную трубку: «Что! Трудно, говоришь? А ты учись у Василия Ивановича бить трудности по морде. Учись!»

Своими делами сын крестьянина Ивана из деревни Белавино заслужил в памяти людей бессмертие. Вот почему не могу я говорить о нем в прошедшем времени.

МУЖЕСТВО

Гайки никак не хотели отвинчиваться. Мороз тоже не щадил самолюбия. Прораб был зол на себя, на тех, кто не дает в цех тепло, на своих монтажников, отказавшихся работать на морозе. Двадцать минут назад он хлопнул дверью курилки и выскочил наружу: «Грейтесь, а я за вас поработаю». И вот теперь зло крутит гайки.

— Придут. Все равно придут. Совесть-то у них есть... В парткоме, конечно, об утеплении цеха поговорить надо. Факт... Неужели так и не придут? Тогда до вечера буду гайки крутить, а утром заявление об уходе подам. Что за прораб, у которого люди работать отказываются. Нет, лучше снова на пенсию... Факт.

Вспомнилось вдруг, как в 1955-м приехал сюда, в Коряжму, на строительство комбината, как начальник отдела кадров с сомнением посмотрел на его далеко не богатырскую фигуру, спросил:

— Надолго к нам?

— Насовсем.

— Хорошо бы,— ответил тот хмуро.

Тогда многие уезжали со стройки. Он сравнивал то время и нынешнее. Жить стало много лучше. Факт. Но трудностей и забот почему-то не убавляется. Только другими становятся. Тяжелее всего ему, конечно, было тогда, когда случилась беда.

Он пришел в себя после операции. Как его вынесли из кузницы, как в больницу везли, не помнил. Теперь его успокаивали. Он поправится, получит пенсию. Государство в беде не оставит. Но разве это жизнь — в 35 лет стать инвалидом? Прощай, профессия кузнеца, прощайте, мечты.

Пенсию ему дали — 120 рублей. Теперь он каждый месяц расписывается за нее левой рукой. Сначала это делала жена. От правой руки он отвык. Она была как чужая, и он старался не смотреть на нее. Он обзавелся удочкой, но рыба почему-то не ловилась. Да и настроения не было. Старых друзей он избегал: тяжело выслушивать слова сочувствия. К тому же еще острее в эти минуты переживал он свою беспомощность и бесполезность. Но друзья пришли сами.

— Хватит отдыхать! Мы тебя в снабженцы сватать пришли, на наш монтажный участок.

О, это оказалась адова работа. Никогда он не думал, что у начальника снабжения столько хлопот, никогда не думал, что и эта работа требует таланта. Он научился уважать труд снабженца, но полюбить его до конца так и не смог. Он начал засиживаться вечерами над справочниками по технологии монтажа оборудования, читал чертежи, запоминал формулы, заново научился писать правой рукой, зажимая карандаш единственным сохранившимся пальцем. И вот ему дали участок. Он прораб. У него самый ответственный объект на комбинате — хлорный завод, который быстрее должен обеспечить сырьем производство. А пока сырье возят с других заводов. Оборудование завода чрезвычайно сложное. Естественно, монтажникам приходится нелегко. Но на них надеются, и они слово дали: «Сделаем». До этой недели все шло прекрасно. И тут нá тебе: «Не будем работать, пока отопление не включат». А его включат, может быть, дня через два. Но дело-то стоит. А оно стоять не должно. Факт. И вот он зло крутит гайки и думает про себя. «Придут. Не могут не прийти...»

Они пришли. Обступили полукругом своего прораба, не зная, что сказать. И он, хотя и ждал их, тоже стоял молча. Потом взглянул почему-то на Кольку Вараксина веселыми глазами и сказал: «И за что я вас, чертей, люблю?» Только и всего.

— Больше конфликтов не было. Сейчас я начальник участка. В этом квартале сдаем цех древесноволокнистых плит. Думаю, все будет в порядке. Факт,— закончил рассказ о себе Николай Гурьев, между прочим, тоже Иванович.

МОЛОДОСТЬ

Алексею Козьмину 28 лет. Это средний возраст жителей поселка. И когда я вспоминаю Коряжму, я прежде всего вижу лицо Алексея, его фигуру, с природной украинской хитрецой глаза. Алексей утверждает, что вся его жизнь — это цепь случайностей. Жил в Донбассе, работал шофером. По комсомольской путевке поехал в Иркутск. Случайно узнал: нужны добровольцы на целину. Приехал в Казахстан. Работал комбайнером, трактористом, звеньевым. В Караганде и Щучинске обучал курсантов тракторному делу. В Кокчетаве работал водолазом. В совхозе Александровском сеял пшеницу. Женился и решил навсегда остаться в тех краях. И снова случайность. Заболела дочка, и врачи посоветовали для поправки здоровья сменить климат. Прочитал в газете об ударной стройке Котласского ЦБК. Около трех лет назад приехал сюда.

— Не люблю я мотаться с места на место,— утверждает наперекор своей биографии Алексей.— Отсюда никуда. Баста. Да и что мне уезжать? Дочка поправилась. Стройка большая, работы много. Скоро проведут газ, телецентр построят. У меня и телевизор уже есть. Нет, отсюда никуда... Если не прогонят, конечно,— смеется он.

Последнее, по-моему, ему никак не угрожает. Пришел я как-то на лесобиржу, где Алексей работает. Вижу, нет его. Саша Сокольников, его напарник, почему-то строго так, чуть не официально мне говорит: «Алексей Иваныч там (жест рукой). Типчика одного отчитывает». Иду туда. По дороге встречаю Алексея. Мрачный, как туча, и не говорит, а бурчит:

— Ну, чистые дети. Ведь обещал: пить не будет. Значит, баста. Так нет, снова. Пришлось с работы выгнать, а он обижается. Чего обижается? Ему же лучше.

На другой день «типчик», правда, работал, да так, что угнаться за ним не могли. Алексей на этот раз с хитрой улыбкой бурчал:

— Я же говорил, ему лучше будет.

* * *

Вот три сына Ивáновых. Разные люди. Разные характеры. И все-таки чем-то очень похожие друг на друга. Не страстной ли любовью к жизни и не щедростью ли к людям? Любому из них я дал бы светлое имя — Романтик, но не знаю, поймут ли они меня, может, даже обидятся. Они ведь не любят высоких слов. Они привыкли добросовестно делать свою работу и помогать тем, кому нужна помощь. И, наверное, по воскресеньям они идут в лес за грибами, едут на охоту или на рыбалку, радуются утренней песне птицы, зеленой траве и закату солнца. И той же радостью радуются они, когда видят, как поднимается под их руками молодой город, набирает силу новый комбинат. Потому что это и есть жизнь.

А что сказать тебе, бывший романтик? Ты пробыл на крупнейшей ударной стройке страны целый год, а по сути, ничего о ней не узнал. Этот «комбинатишко», как ты его называешь, только в 1961 году дал первую целлюлозу, а уже сейчас близок к перекрытию всех проектных мощностей и выпускает около 20 видов продукции. Это только две очереди. Сейчас строится третья. «Комбинатишко» знают в восемнадцати странах мира, куда идут его изделия. А ты ничего не узнал, все закрыл рубль. Ты и приехал сюда за длинным рублем и не скрывал этого. В итоге ты остался один.

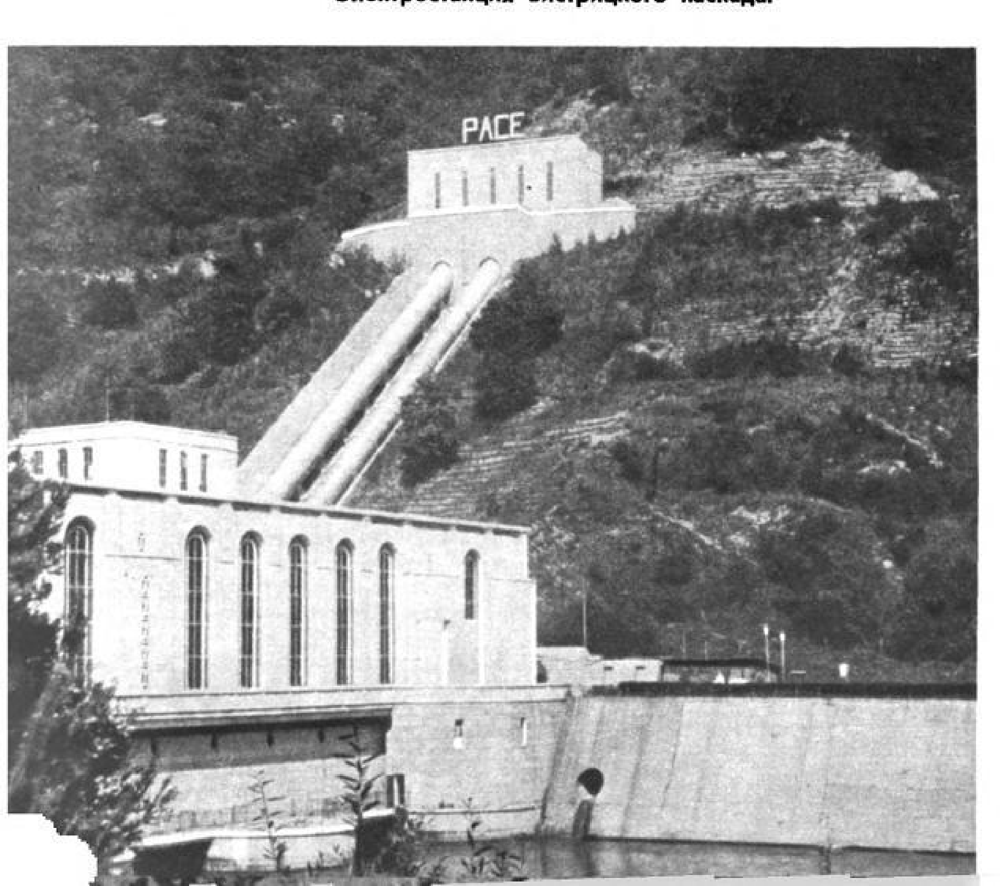
Котласский ЦБК,
Архангельская область.

Пьятру-Нямц. Древняя часть города.



А. Улинич, инженер-агроном научно-исследовательского института в Фундуля.

Электростанция Бистрицкого каскада.



РЕЗЕ

КАК ИЗ СПИЧЕК ВЫРАСТИТЬ КУКУРУЗУ

Письмо это, полученное в Фундуля много лет назад, до сих пор никак не могут забыть. Каждый раз вспоминают о нем, когда речь заходит о новом гибриде кукурузы. Прочли письмо — вначале удивились. Надо же такому быть! Посмотрели обратный адрес: ну, конечно же, откуда оно может прийти, как не из Олтении,— и перестали удивляться.

Олтения — во всех отношениях примечательный край Румынии. Его в стране любят, рассказывают о нем много легенд и веселых баек. По обширным землям Олтении бежит, пробиваясь меж зеленых массивов гор, река Олт, путешествие по берегам которой доставляет истинное удовольствие. Дремучие леса спускаются к самой воде. Небольшие долины покрыты травами, высокими и густыми. Тишину нарушает лишь рокот волн да посвист птиц. Прохладный воздух пахнет водой, лесом и травами. Недаром этот край стал излюбленным местом отдыха румын. Там, где горы отступают от Олта, построены санатории, пансионаты, гостиницы. В ущельях удобно расположились кабáны — пристанища для туристов. Это двухэтажные дома, где в любое время можно сытно перекусить, а если в пути застанет ночь, то и удобно переночевать.

В общем, приятный и полезный для человека край Олтения. Когда о нем вспоминают в Бухаресте, или Клуже, или в любом другом городе республики, глаза у собеседников делаются мечтательными, а рты растягиваются в доброй улыбке. Неспроста румыны при этом улыбаются. Они вспоминают не только красоту края, но и его жителей. Их же без улыбки вспомнить просто нельзя. Остроумны и веселы олтенцы. Они, например, предложили новый способ изготовления сухого молока: включать корову рогами в электрический штепсель. Есть и свое, олтенское решение проблемы стирания граней между городом и деревней: извести во всех городах тротуары и мостовые. Дома, говорят олтенцы, надо строить круглые, чтобы не разговаривали по углам.

При знакомстве с олтенцем прежде всего бросается в глаза его длинная шея. Что за аномалия такая? Сами олтенцы объясняют это тем, что по природе своей они очень любопытны и тщеславны. С рождения тянутся взглянуть за Карпаты, чтобы узнать, и как там за горами люди живут, и присмотреть себе местечко, какое рангом повыше.

Отнюдь не в осуждение характера олтенца я вспомнил о его любопытстве и тщеславии. Никак нет! Не будь любопытным купец Шлиман, человечество никогда бы воочию не увидело сокровищ Приама. Обдели бог тщеславием Байрона, мировая поэзия стала бы куда беднее, чем она есть сейчас.

Вот почему в Фундуля перестали удивляться, когда узнали, откуда к ним пришло письмо. Олтенец без шутки — все равно что каша без масла. Так что же такого смешного было в письме? Но прежде чем ответить на этот вопрос, надо в конце концов ответить на другой, который, видимо, возник у читателя с первой же строки этого очерка: что такое Фундуля?

Фундуля — местечко близ Бухареста. Оно знаменито тем, что здесь расположен научно-исследовательский институт зерновых и технических культур. Научный центр этот еще молодой. Скоро ему минет всего лишь десять лет. Но, несмотря на малый возраст, слава о нем идет большая.

Опытные поля института раскинулись в одной из самых плодородных частей страны — в районе Бэрэган. Площадь их — шесть тысяч гектаров.

— Есть где разгуляться научной мысли,— говорит Аркадий Улинич, инженер-агроном института.

Он работает в Фундуля несколько лет, хорошо знаком с делами и проблемами института. Отсюда рассказ его немногословен, ясен. Сложные вещи обретают простую, доходчивую форму. Заинтересованность и эмоциональность увлекают слушателя.

Улинич — человек не старый, тридцать пять лет всего, но в темных, гладко причесанных волосах седина. Нос прямо-таки гоголевский — длинный и тонкий, повис над черточкой усов. Круглые серые глаза темнеют, длинные пальцы приподнятой руки собираются щепотью, когда он говорит об особой значимости того или иного открытия.

— Словом, получилась сильная пшеница: морозов не боится,— щепоть Улинича витает на уровне носа,— скороспелая, устойчива к полеганию. Ну, просто прелесть!

Речь идет о сорте пшеницы «Бухарест-1», которую вывели недавно Николай Еустацну, Зоя и Константин Цапу.

— Сейчас мы ее горячо рекомендуем всем нашим кооператорам и госхозам... Удача, удача!

Окончание. Начало см. в № 43.

Борис **ИВАНОВ**,
специальный корреспондент
«Огонька»

Фото автора.

Ц ВРЕМЕНИ

Подобных удач в Фундуля немало. И связаны они не только с селекцией. Долгое время считалось, что для зерновых и технических культур лучшего удобрения, чем калийные, не сыщешь. В недрах Румынии их нет. Приходилось ввозить из-за рубежа. Нельзя ли найти у себя дома другое удобрение? После длительных поисков было установлено, что оно есть в самой стране и дает большую прибавку урожая. Это азотные удобрения. Таким образом, государство получило двойную выгоду: отпал импорт, полнее стали закрома.

Еще пример, уже из другой области сельского хозяйства. Борьба с сорняками. Семь лет назад кукурузу ограждали от них гербицидом «2,4-Д». Теперь в Фундуля открыли еще одно средство — атрозин. Какова его убойная сила, говорит прошлогодний опыт опорного пункта института близ станции Орадя, области Марамуреш. Лето там выдалось сырое. Дожди и дожди. Сорняки двинулись на кукурузные поля стеной. Мотыжение проводить было почти невозможно. Что делать? Попробовали атрозин. Результат оказался сверх всяких ожиданий. Кукуруза поднялась чистая, стебель к стеблю.

— Каким образом открытие института становится достоянием крестьян?

— Весьма обычным. Как Центральная телестудия передает свои программы в дальние города и села? Через ретрансляционные установки. У нашего института такими установками являются опытные станции, расположенные в каждой области. А телевизорами — опорные пункты. Работа станции целиком и полностью сообразуется с местными условиями. В Арджеской области почвы подзолистые. Станция занимается их улучшением. И уже добилась заметных результатов с помощью минеральных удобрений, состоящих из тех же компонентов, что и навоз. На брашовских землях хорошие урожаи дает новый сорт ячменя. Кооператив «Гимбов» получает с каждого гектара дополнительно пять-шесть центнеров. Станция внедряет этот сорт по всей области. Бывают и курьезы. Забарахлит ретрансляционная установка — на экране телевизора искаженное изображение. Пример тому — письмо из Олтении, о котором я упомянул в начале нашей встречи.

— Не томите... Что же все-таки в нем было?

— Сейчас, сейчас узнаете... Еще минуточку терпения.

Улинич глубоко вздохнул, словно готовясь к последнему броску своего рассказа. Веки сдвинулись, скрывая за пушистыми ресницами улыбку.

— Придется снова вернуться к селекции. Случилось это давно. Лет восемь прошло с тех пор, не меньше. Создали мы новый гибрид кукурузы: двойной, высокоурожайный. С легким сердцем стали его рекомендовать кооператорам. Посыпались вопросы, сомнения: как да что? В общем, все обычно. И только письмо из Олтении нас вначале озадачило. «Триста лет сеем кукурузу,— писал один кооператор,— но отродясь не знали, что из спичек вырастают початки. Сами любим посмеяться над ближним, только шутки свои не печатаем на казенной бумаге с гербами. Спасибо за совет. Сейте сами. А мы — как деды наши». «При чем тут спички?» — пожимая плечами, думали мы. Но, сообразив, в чем дело,— правда, не сразу,— рассмеялись. Здорово нас вышутил олтенец за ошибку. Оказывается, кто-то в слове «гибрид» допустил описку. Вместо буквы «г» написал «к». Получилось слово «кибрид», что значит спички. Однако олтенец не шутил. В его деревне описку приняли всерьез и обиделись. Пришлось ехать, разъяснять, улаживать. Теперь в нашей стране двойным — межлинейным — гибридом засевают четыре миллиона гектаров, получая осенью увесистые початки...

МАМАЯ — ЗОЛОТАЯ СТРАНА

Высокое солнце, неоглядные степи, ласковое море, сочный виноград, широкий Дунай — такова благословенная Добруджа. «Волга» мчится по прямому, как стрела, шоссе. Стрелка спидометра дрожит на отметке «120». Покойно. Поначалу как-то непривычно после горных дорог Трансильвании, Молдовы, Олтении. Час ранний. Сзади «Волги» вереница машин. Много их и впереди. «Москвичи», «Шкоды», «Мерседесы», «Форды»... Но люди спешат не на службу. Быстрее, быстрее, к горячему песку пляжей, к теплой, ласковой волне моря. Добруджа — еще и край курортов.

Наш путь лежит в Мамаю.

Обогнали длинный, как улитка, двухцветный автобус румынского интуриста «Карпаты». «Волгу» обошел стремительный приземистый «Ягуар». У развилки, прижавшись к обочине, сиротливо стоит потрепанный «Оппель». Рядом с ним, понуро нагнув голову,— водитель. Милиционер что-то строго выговаривает ему. Не дремлет око стража порядка.

— Пахнет штрафом. Не будь раззявой,— говорит наш шофер, прибавляя газ.— Мой бы друг выкрутился. Однажды по лотерее он выиграл автомобиль. Управлять им не умел. А покататься страшно хочется. Уговорил своего приятеля-майора сесть за баранку. Тот кое-что мараковал в шоферском деле. Утречком выехали они на дорогу и газанули. Сначала не спеша, осторожненько. Получается. Прибавили скоростишки. Аппетит приходит во время еды. Разгулялись ребята, забыв о правилах. Тут, как водится, милиционер: «Т-р-р!». Деваться некуда. Остановились. Попались крупно. Прав ни у одного нет. Но сообразили. Вылезает из машины хозяин, вразвалку подходит к милиционеру и говорит: «Видите, кто мой шофер? Майор!» «Это ничего не значит»,— отвечает милиционер. «Ну, если мой шофер — майор, так кто же тогда буду я?» «Рад приветствовать вас, товарищ министр!» — отдавая честь, сказал милиционер и отпустил с миром. Думать надо...

— Друг ваш, наверное, олтенец.

— Почему? У нас и в Валахии головастые ребята живут.

На горизонте, упираясь в голубое небо, показались белоснежные корпуса гостиниц Мамаи.

— Считай, приехали...

Дорога стала еще оживленнее. Повстречался троллейбус. Шипя огромными скатами, он направлялся в Констанцу. Крупнейший порт Румынии связан с курортом троллейбусной линией. Заскучал в Мамае, — пожалуйста, отправляйся в город, полюбуйся океанскими лайнерами, танкерами, лесовозами, стоящими у стенки под флагами десятков стран мира.

Но скучать не придется.

Курорт этот, построенный за каких-нибудь шесть лет, вытянулся вдоль низкого берега Черного моря. Широкий четырехкилометровый пляж покрыт тонким, мягким песком. Нога тонет в нем, как в вате. Дно моря пологое. Надо пройти по воде не один десяток метров, чтобы добраться до глубокого места.

От пляжа до гостиниц, а их свыше тридцати — рукой подать. Курортники прямо с постели, в плавках, шортах, купальных костюмах, бегут босиком к морю. Окунувшись, поплавав, направляются завтракать в многочисленные кафе, бары, рестораны. Очередей нет, обслуживают быстро. И вовсе не обязательно к столу переодеваться. Не нужно менять пляжный наряд и к обеду.

Вечером эстрада, кино, танцы.

Можно сменить соленую воду на пресную. Перейди улицу и очутишься на берегу озера Сют-Чьел. Площадь его — 2 070 гектаров. Здесь яхты, лодки и богатая рыбалка.

Совсем купаться не хочешь — посиди в сквере под зелеными кронами платанов, кленов, у фонтана или бассейна. Подыши ароматом цветов.

До поздней осени бурлит Мамая. Отдыхать сюда приезжают не только из городов и сел Румынии. Разноязычна и многоплеменна толпа курорта.

Мамая для здоровых людей. Больные лечатся и отдыхают в Эфории. Их здесь две: северная и южная. Любители уединений селятся на лето в приморских деревнях близ болгарской границы. Побывали мы и там. Около деревни Мангалия увидели развалины древнего храма. Торчат из песка стройные колонны. Изъеденные временем каменные ступени спускаются к морю. Кто его воздвиг здесь на заре человеческой цивилизации: римляне, греки? Нет. Храм построен руками наших современников, в нынешнем году. Это макет, точно воспроизводящий храм крепости Истрия. Нынче здесь снимается фильм «Под знаком девы». Автор сценария Георгиу Михня, известный в республике прозаик, поделился с нами своим замыслом.

— Это будет лирический фильм,— говорит Георгиу Михня.— В основу его легла история, происшедшая в соседней деревне двадцать лет назад. Но я отдалил ее от нашего времени на сотни лет. Юноша влюбился в красивую односельчанку. Молодые решили пожениться. Мать девушки подозревает, что жених — побочный сын ее покойного мужа. Греховный брак не должен состояться. Мать говорит об этом дочери. Тайну семьи девушка передает своему возлюбленному. Но правда ли все это? Есть лишь одни догадки. На рассвете молодые встречаются на ступенях храма и исчезают... Идею фильма точно выражает румынская поговорка,— заключает Георгиу Михня,— родители едят кислые ягоды, а у детей зубы болят.

...Красное солнце краешком коснулось тихой глади моря. Вода у горизонта порозовела. Пора возвращаться в Мамаю. Утром — в Бухарест и — домой.

Путешествие по Румынии завершалось.



В. ПРОКОФЬЕВ

ПИКАССО

«Художник...— говорит Пабло Пикассо,— это политическое существо, постоянно живущее потрясениями, страшными или радостными, на которые он должен дать ответ...»

Пикассо, которому в октябре этого года исполнилось 85 лет,— художник невиданно беспокойного и жестокого века. Он современник двух мировых войн, унесших столько жизней, сколько их унесли все войны, вместе взятые, с древнейших времен. Он современник Освенцима и Бухенвальда, Герники и Хиросимы. И его искусство не могло быть спокойным, не имело права быть успокаивающим. Оно стало искусством встревоженного человечества.

Но Пикассо — это также художник века невиданных надежд, страстного стремления человечества к счастью. Он современник Октябрьской революции, победы над фашизмом, движения народов за мир и свободу. Его вера в человека, подвергавшаяся подчас чудовищным испытаниям, никогда не угасала. И потому искусство Пикассо проникнуто самым светлым гуманизмом.

Представьте себе хотя бы в общих чертах творческий путь Пикассо, и вы убедитесь, что в нем периоды, полные горечи или драматизма, чередуются с иными, отмеченными гармоничными, вызывающими радость образами. Вслед за голубым (точнее, синим) периодом с его изнуренными прачками, нищими, бродягами, живущими в особом, бессолнечном мире, приходит в конце 1904 года период розовый, где даже сохраняющаяся грусть становится просветленной. На смену неистовым взрывам кубизма, будто взломавшим мир, вздыбившим формы, рассекшим пространство и едва не приведшим Пикассо в пустыню абстрактивизма, в 1918 году приходит кристальная гармония неоклассического периода. А после 1925 года в творчестве Пикассо противоборствуют образы, нередко близкие к навязчивым кошмарам сюрреализма, и те, в которых все ярче разгорается свет надежды.

Перед нами будто колеблются гигантские весы, на одну чашу которых брошены все беды и несчастья современного человечества, а на другую — бережно сложено все то, чего так не хватает ему, но к чему оно так упорно стремится. И осью этих весов является живое сердце художника, сердце Пикассо.

Колебание этих весов заметно не только во всем творчестве художника, но и в каждом отдельном его произведении.

Вглядитесь в любую картину Пикассо кубистского периода, такую, например, как «Королева Изабо». Формы изображенной здесь готической скульптуры резко упрощены, мучительно сдвинуты. Хаос разламывающегося мира грозит обезличить и поглотить прекрасное произведение искусства, и все же кисть Пикассо незаметно направляет наши мысли по иному руслу. Формы древней скульптуры представляются стертыми временем, поблекшие краски вызывают воспоминания о старинных гобеленах, угловатость очертаний постепенно смягчается — и будто откуда-то из бесконечной глубины веков доносится до нас эхо уже неповторимого, невозвратного, полузабытого и все же не утратившего своей прелести совершенства. Это, если хотите, своеобразное испытание красоты на прочность. И у Пикассо любого периода она в конечном счете всегда выдерживает это испытание.

«Жизнь против смерти»— так определил философский, моральный и эстетический принцип, лежащий в основе творчества Пикассо, польский искусствовед Юлиуш Стажиньский. Битва жизни против смерти, будущего против прошлого — вот главнейшее содержание нашего века. Оно же определяет искусство Пикассо, обусловливает его двуединый и полный внутреннего противоборства характер. Вот почему об этом художнике иногда говорят как о своеобразном олицетворении всего нашего грозного и прекрасного, жестокого и внушающего светлые надежды столетия. Вот почему уже более шестидесяти лет (со времен первой персональной выставки Пикассо в 1902 году) его произведения не перестают волновать современников.

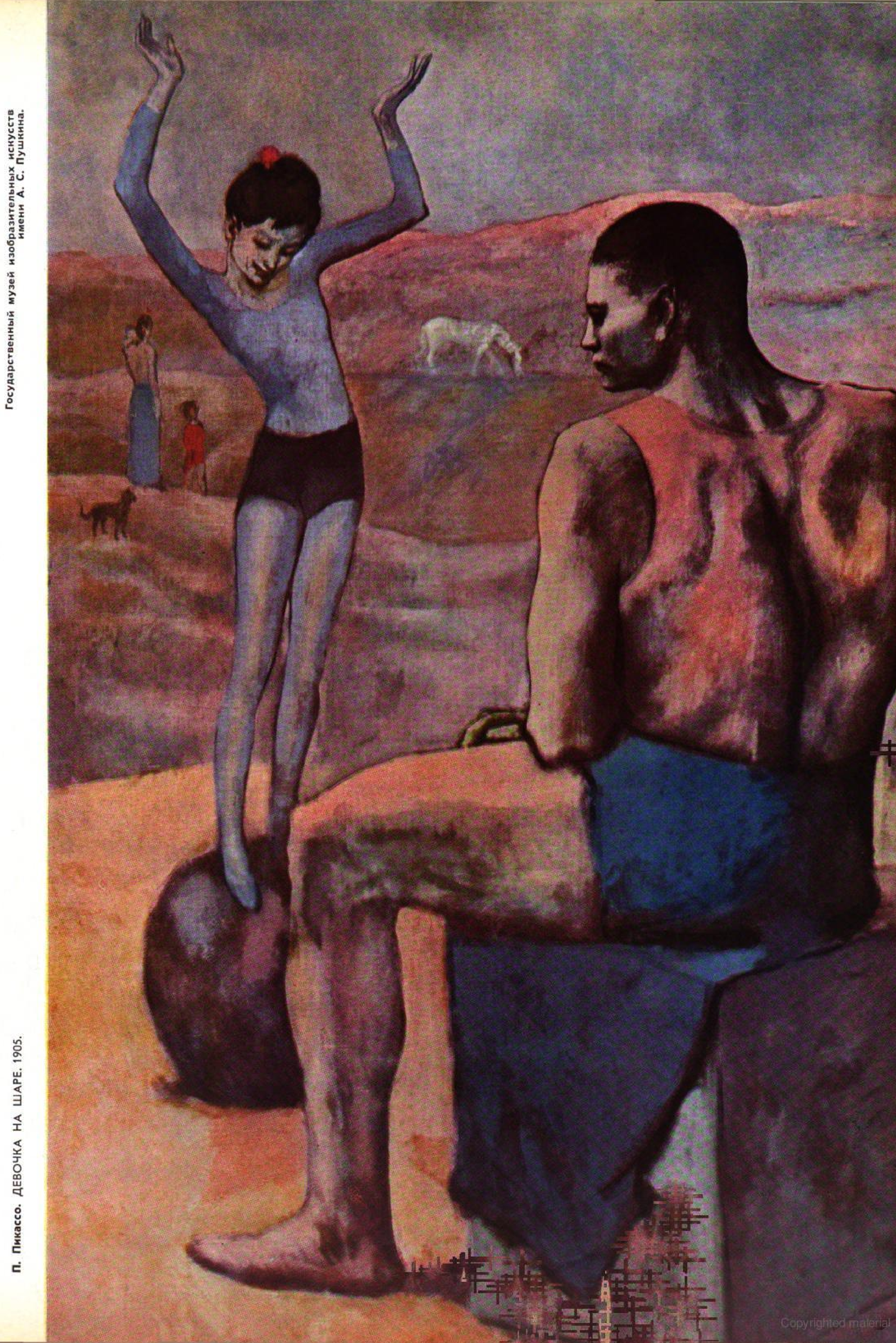
При этом, однако, нужно иметь в виду следующее важное обстоятельство, определяющее особенности отношения искусства Пикассо к действительности. В сущности, художник никогда доподлинно не изображал конкретные факты изуверства и угнетения или, наоборот, радости и счастья. Его искусство не было хроникой исторических событий XX века даже тогда, когда он посвящал свои картины вполне определенным событиям — будь то уничтожение итало-немецким фашистским авиалегионом «Кондор» баскского городка Герники в 1937 году или расстрел американскими оккупантами мирных жителей Кореи в 1951 году. Оно было хроникой чувств и мыслей, пораженных и возмущенных этим варварством. В этом непривычность метода Пикассо, всегда стремившегося запечатлеть не столько саму действительность, сколько ее уже лишенные материальности отражения во взбудораженном человеческом сознании.

«Я пишу не с натуры, а при помощи натуры», «Я изображаю мир не таким, каким я его вижу, а таким, каким я его мыслю»,—не раз повторял мастер.

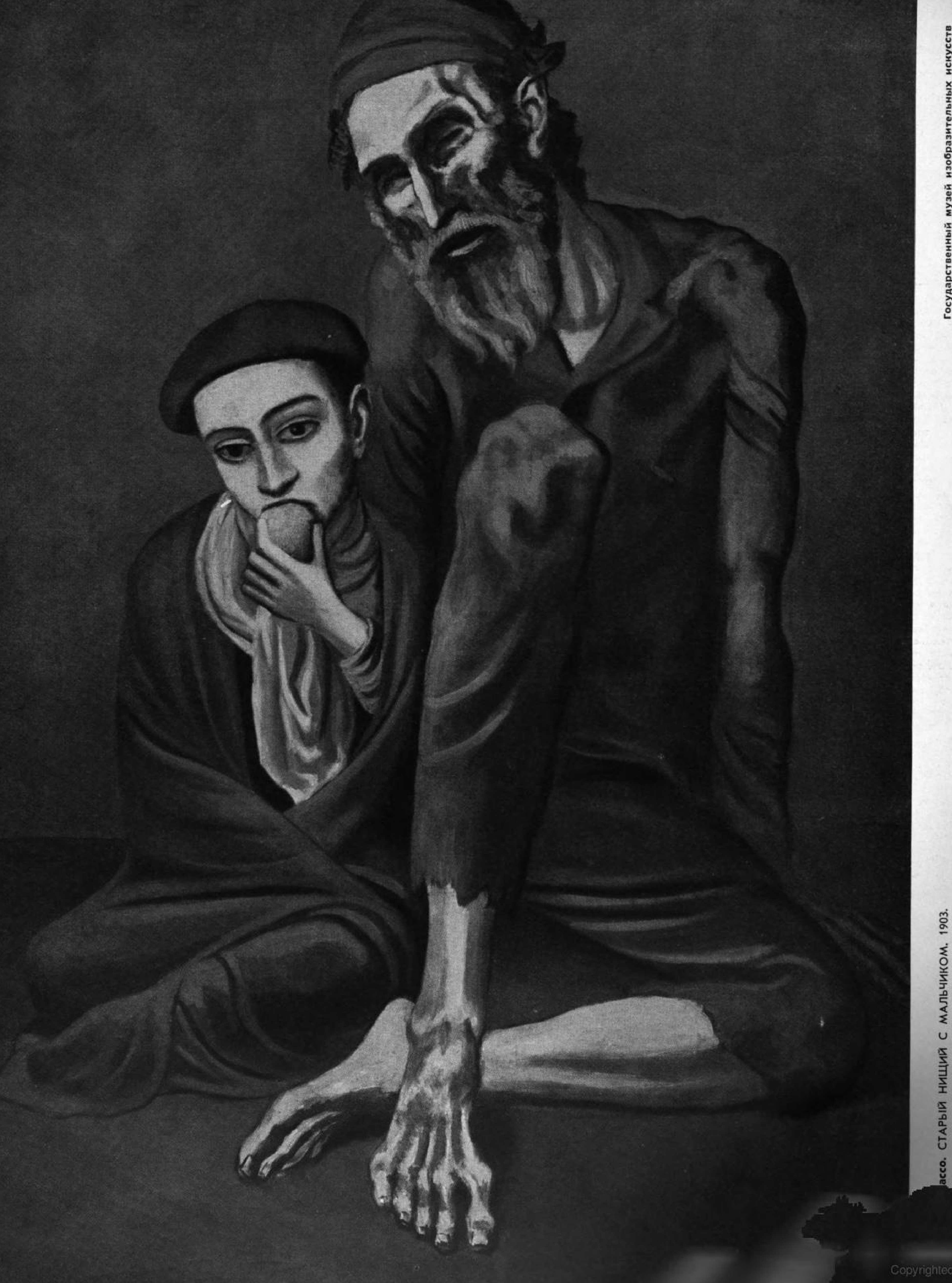
Искусство нового времени приучило нас к тому, что художник, изображая действительные факты, как бы растворял в них свою оценку, свою тенденцию и предоставлял нам, зрителям, сначала рассматривать изображенное явление, а затем путем переживаний и размышлений постепенно добираться до его общей оценочной сути. Пикассо же хочет сразу, сокращая до предела все промежуточные инстанции, передать нам свою мысль, вызванную тем или иным явлением, внушить нам свою обеспокоенность или радость, приобщить нас к потоку стремительно возникающих в его мозгу идей. И в этом особо резкая, особо задевающая нас за живое выразительная сила искусства Пикассо, которая захватывает целиком наше сознание, будоражит его, настоятельно требует ответа на те жгучие проблемы современности, над какими размышляли и мы.

Когда живописец изображает слепого старика нищего и мальчика-поводыря («Старый нищий с мальчиком»), то хочет выразить и внушить нам общее представление о нищете, идею нищеты, иссушающей человека физически и духовно, погружающей его на дно жизни, куда уже не достигает свет солнца и где царит монотонная беспросветность, холодный и недвижный синий сумрак отчаяния.

Работая над картиной «Странствующие гимнасты», Пикассо стремится создать представление о самом полном одиночестве людей, которые могут найти поддержку лишь друг в друге. И он буквально вти-



П. Пикассо. ДЕВОЧКА НА ШАРЕ. 1905.
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.



ассо. СТАРЫЙ НИЩИЙ С МАЛЬЧИКОМ. 1903.

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

скивает, их в угол обшарпанного кафе, отделяет от нас пустой плоскостью стола, на которой ядовито поблескивает забытый бокал зеленого абсента, охватывает их фигуры неразрывной, как сковывающая цепь, черной линией и так плотно придвигает их тела друг к другу, что кажется, будто они, прижавшись, стали одним существом, погруженным в глубокое раздумье и в то же время обратившим к нам вопрошающий, полный горечи взор. Сами краски стали терпкими, щемящими, бередящими душу каждого, кто приближается к этой картине.

А знаменитая «Девочка на шаре» еще издали влечет нас тихой печалью мягких, чуть мерцающих, струящихся серебристо-розовых и серебристо-голубых оттенков. В картине царит атмосфера хрупкой одухотворенности. Балансирующая на шаре девочка изгибается, подобно тростинке под набегающим дыханием ветра. Угловатая фигура акробата, сидящего на кубе, подчеркивает по контрасту ее гибкость и сама, написанная на редкость деликатными красками, проникается общей для этой картины мягкостью и добротой. В чуть грустной дымке тают пустынные поля, фигуры вдали становятся почти сказочными тенями, розовеют вершины далеких холмов. И, кажется, даже воздух наполнен здесь едва слышными звуками, задумчивой мелодичностью.

Метод Пикассо обладает и еще одним важным достоинством.

Он, во-первых, позволяет художнику делиться с нами мыслями о самых жестоких событиях жизни. Так, посвящая в 1937 году огромную картину кровавым событиям в Гернике, Пикассо должен был впервые создать образ войны, лишающей человека не только жизни, но и самого человеческого облика, расплющивающей тела, выламывающей суставы, дробящей черепа, выдавливающей глаза. Если бы он изобразил это «в формах самой действительности», получилось бы нагромождение искромсанного мяса, способное вызвать чисто физиологическое отвращение. Но он пошел по иному пути и запечатлел на холсте бесплотную, но цепкую, как ночной кошмар, чреду образов, будто стремительно проносящихся в потрясенном сознании. Это не столько реальное страдание людей, сколько вызванное им страдание возмущенной мысли художника.

Во-вторых, метод Пикассо позволяет ему создавать образы столь высокой идеальности и чистоты, которые, будь они конкретизированы, неизбежно показались бы современному человеку сентиментальной идеализацией действительности, убаюкивающей иллюзией. Когда в 1950 году Пикассо выполнил графическую серию, впоследствии вдохновившую Поля Элюара на создание поэмы «Лики мира» (эта серия и поэма были удостоены золотой медали Всемирного Совета Мира), он стремился воплотить извечную мечту человечества о мире, счастье, изобилии. Идею мира, овладевающую сознанием людей, несущую гармонию и процветание, он выражает в трех сочетающихся символах: это голубь, это лицо женщины, это хлебный колос. Превращая эти привычные образы в невесомые, легкие тени, художник очищает общеизвестное от банальности, возвращает им поэтическую неопровержимость. Крыло голубя незаметно переходит в мягкий абрис человеческой головы, а он, в свою очередь, превращается в стройный колосящийся стебель. Запечатлено само течение нашей мысли от представления о мире к представлению о красоте и от него — к представлению об изобилии. И в самой этой игре линий, в превращениях образов, в соединениях форм одновременно присутствуют и изощренность гения великого художника и простодушие ребенка, всякий раз удивляющегося тому, что создает его рука.

Жажда творчества у Пикассо неистощима. Она побуждает его беспрестанно экспериментировать, вечно искать и находить все новые и новые образы, никогда не удовлетворяться достигнутым. Изменчивость искусства Пикассо поистине вошла в пословицу. Жажда творчества заставляет его, подобно мастерам Возрождения, обращаться решительно ко всем видам и формам пластических искусств: к станковой и монументальной живописи, скульптуре, графике, керамике, гобелену... Пикассо хочет, чтобы искусство пронизывало все стороны жизни современного человека, и его усилия наряду с усилиями Анри Матисса, Фернана Леже, Жана Люрса и многих других уже преобразуют быт человека. Благодаря этим художникам уже изменился облик городов Запада, родилось новое искусство оформления, стали привычными новые, чистые и светлые краски интерьеров, тканей, мебели, керамических изделий. Преобразилось и преображается само понимание эстетического.

Восхищаясь этими достижениями Пикассо и особенно его гармоничными, радостными произведениями, вроде «Девочки на шаре» (1905) или «Влюбленных» (1923), серии «Балет» (1925) или «Сюиты Воллара» (1933—1934), «Ликов мира» (1950) или «Портрета Сильветты Давид» (1954), некоторые недоумевают, почему художник, которому открыто такое совершенство пластики, такая глубина и свобода постижения прекрасного, тем не менее столь же постоянно и в еще бо́льшем количестве создает произведения, где мир предстает в каком-то чудовищном, гротескном обличье.

Но пусть эти недоумевающие заглянут в прошлое искусства, в те периоды, которые соответствовали важнейшим историческим переломам и были чреваты, как и наша эпоха, великими переворотами и великими трагедиями. Там они встретят художников, родственных Пикассо, таких гигантов, как Франсуа Вийон, Рабле, Питер Брейгель-мужицкий, Джонатан Свифт и Франсиско Гойя.

Писать радость жизни — заветная мечта каждого подлинного художника. Но писать только радость можно либо в гармоничном, радостном мире, либо споря со своим негармоничным временем. Пикассо же слишком остро ощущает, как много злого, коварного, жестокого есть еще в окружающей его действительности. Пикассо, подобно Франсиско Гойе, всегда полагал, что искусство не имеет права пройти мимо любого как уже осуще[illegible]гося, так и еще таящегося варварства.

«Сон разума ро[illegible] — писал в 1799 году Гойя.— Фантазия, лишенная ра[illegible]удовищ; соединенная с ним, она — мать иску[illegible]та и [illegible]ом чудес». Но чтобы разум пробудился, он должен ясно представлять себе отталкивающий облик своего антипода, должен восстать против него.



П. Пикассо. ГОЛУБЬ МИРА. 1949 год.

Пикассо — это Гойя XX века. Коллизии искусства Пикассо еще острее, мир его противоречивее, борьба против зла труднее. Подчас кажется даже, что художник вот-вот утратит веру в человечность и сам поверит в то, что тяжкий кошмар Герники — это единственно мыслимый в наш век образ человеческого существования. Но как бы близко ни подходил Пикассо к этой черте, он никогда не переступал ее. Его, как и Гойю, всегда охраняла уверенность в том, что человек по природе своей не предназначен быть чудовищем.

О многом свидетельствует и такой факт. Во время нацистской оккупации Пикассо оставался в Париже. Гитлеровцы не осмелились арестовать его, но лишили права выставлять свои произведения и отдали художника под надзор гестапо. Во время одного из обысков фашистский офицер, разглядывая репродукцию «Герники», с издевкой спросил художника: «А это тоже вы сделали?» На что последовал мгновенный ответ: «Нет, это сделали вы...»

* * *

Творческий путь Пикассо начался вместе с нашим столетием, и в XX веке нет художника, который был бы объектом такой ожесточенной и непрерывной борьбы мнений, как этот уже давно завоевавший мировую славу мастер.

Множество людей яростно нападало на Пикассо. Среди них первое место занимали Адольф Гитлер и Франко. Но еще большее число людей видели в нем великого художника, мыслителя, властителя дум, гуманиста, «святого испанца», по словам Матисса. Еще большее число людей воспринимало искусство Пикассо как воплощение встревоженной совести и чистой мечты века. У художника всегда было что сказать самым разным людям — рядовым бойцам республиканской Испании и самым утонченным интеллигентам, рабочим и художникам. Он всегда был с теми, кому было трудно, и всегда отзывался и отзывается на самые сложные вопросы эпохи.

Поэтому он был и остается борцом и в жизни и в искусстве.

«Повторять ранее созданное — значит идти наперекор законам духа,— говорил однажды Пикассо Кристиану Зервосу.— Прежде всего это эскапизм», то есть уход от острых вопросов современности. Это — стремление противопоставить прошлое искусства его настоящему и будущему; более того, это — презренное стремление жить за счет великих предков, разменивать на мелочи то, что создал некогда художественный гений человечества.

В этих словах Пикассо бунтующая тревога об искусстве, отданном в руки торговцев, обманщиков, опошляющих и умертвляющих его.

Подчас еще и сегодня можно встретить людей, которые, разделяя политические взгляды Пикассо или приветствуя его благородную общественную деятельность, тем не менее считают нужным противопоставлять Пикассо-гражданина, живущего всеми страданиями и надеждами современности, Пикассо-художнику, якобы отъединившемуся от жизни, занятому чисто формальным экспериментированием (как будто большой художник может жить двойной жизнью и как будто можно создавать новое искусство без поисков для него новой формы!).

Сам Пикассо справедливо протестовал против этого произвольного противопоставления. «Мое вступление в коммунистическую партию,— писал он в «Юманите»,— логический вывод всей моей жизни, всего моего творчества. Ибо я с гордостью говорю, что никогда не рассматривал живопись как искусство простого услаждения, развлечения; я хотел с помощью рисунка и красок, так как это и есть мое оружие, проникать все дальше и дальше по пути понимания мира и людей, дабы это понимание принесло нам освобождение...»



В сорок девятый раз будем мы в нынешнем году отмечать великий праздник Октября. Близится полвека родной Советской власти.

7 Ноября навсегда вошло красным днем в наш календарь. Как бы тяжко ни было нам, даже в ту грозную пору, когда враг стоял у ворот Москвы, мы отмечали день рождения Советского государства. Каждый из сорока восьми этих знаменательных дней становился как бы итогом прожитого года. Такой была и первая годовщина Советской власти!

...6 ноября 1918 года в «Петроградской правде» появилось объявление: «7, 8 и 9 ноября вместо петроградских газет выйдет одна газета —«Год пролетарской революции», под общей редакцией газет: «Петроградская правда», «Северная коммуна», «Вооруженный народ», «Красная газета», Коллектива Петроградского бюро «Роста» и Комитета Союза советских журналистов».

Листаешь страницы этой редкостной газеты, прожившей три дня,— и весь ты во власти революционных бурь, незабываемого времени, воспетого поэтами мира, весь ты охвачен пафосом и романтикой эпохи героев Октября.

Вот призывные строки с пожелтевшего газетного листа:

«...по-обычному сочетаем мы два великих дела. Зовем на улицы, на демонстрации, на торжество и призываем более зорко, чем когда бы то ни было, держать пролетарский караул всюду и везде.

...На улицы — все! В ряды и колонны бесчисленной армии труда... И далее в смене лет с гордостью мы будем вспоминать первое всенародное празднование первой годовщины Октября».

Да, с гордостью вспоминаются сегодня эти торжества! Мы публикуем репортаж наших корреспондентов, пошедших по следам сообщений газеты «Год пролетарской революции», побывавших в тех местах, о которых поведала читателям газета. Пусть эти строки напомнят читателю о неповторимом времени великих свершений, потрясших мир, пусть они еще и еще раз напомнят, как далеко шагнули мы вперед за срок исторически чрезвычайно малый — полвека.

Репортаж готовили М. Дереза, Ю. Лушин, П. Позняк, В. Самойлов, К. Черевков, В. Якобсон. Фотографии 1918 года — из фондов архива Октябрьской революции и социалистического строительства и из Музея Великой Октябрьской социалистической революции.



7 ноября 1918 года. Петроград.



Актовый зал Смольного. 7 ноября 1918 года. Идет торжественное заседание Петросовета.

«Великий день. Церемониал празднования годовщины Октябрьской революции. Начало торжеств. 12 часов ночи... Салют в 25 выстрелов... В 8 часов утра 7 ноября начало демонстрации»...

Из газеты «Год пролетарской революции».

ЦВЕТ ПРАЗДНИКА

«Праздник» — так называлась опубликованная в газете «Год пролетарской революции» статья А. Луначарского. Он писал: «Я не удивлюсь нисколько, если день 25 октября (7 ноября) сделается действительно всемирным праздником, если от этого дня поведется новое летоисчисление».

Праздник! Как он прошел в Петрограде, что расскажут нам его живые участники и немые свидетели — документы?

Вот один такой документ: протокол совещания комиссии при Петроградском губсовдепе, обсуждавшей план предстоящих торжеств по случаю первой годовщины Октября. Председательствовала на этом совещании известная общественная деятельница, жена Алексея Максимовича Горького, Мария Федоровна Андреева. В протоколе записано: в первый день центрами празднования будут: Марсово поле — чествование погибших героев революции; Смольный — открытие в саду памятника Карлу Марксу; Актовый зал Смольного — торжественное заседание Петроградского Совета... «Цвет праздника — красный»,— записано в протоколе.

Итак, один из центров праздника — Смольный.

...Смольный, ноябрь 1918 года. Актовый зал. Год назад здесь была провозглашена Советская власть. Сегодня тут торжественное заседание Петроградского Совета.

Мы привыкли к тому, что все такие собрания завершаются концертами. В тот вечер все было по-другому. Первое слово получил... Моцарт. На эстраду поднялись артисты Государственного оркестра, капеллы, солисты и солистки театров. И под высокими сводами Актового зала Смольного прозвучал Реквием Моцарта.

Мы беседуем с участницей этого праздничного концерта — Софьей Владимировной Акимовой-Ершовой. В ту пору она была артисткой Мариинского оперного театра. А сейчас мы застали коммунистку С. В. Акимову-Ершову в Музыкальном училище Ленинградской консерватории. Она преподавательница.

— В Смольном был полностью исполнен моцартовский Реквием,— рассказывает Софья Владимировна.— Многие из сидевших в историческом зале — рабочие, солдаты — впервые слушали бессмертное произведение. В этот вечер гений Моцарта как бы приветствовал творцов новой жизни. В те праздничные дни мы выступали с концертами на торжественных заседаниях, в театрах, клубах. Бывало так: отзвучали пламенные речи ораторов, умолк оркестр, опустился занавес, а люди не расходятся — о чем-то спорят, что-то обсуждают. А потом идут за кулисы, и на нас обрушивается град самых неожиданных вопросов. С кем вы, артисты, в эти дни — с нами или против нас? И надо было видеть сияющие лица рабочих, солдат и матросов, когда они слышали: «Мы с вами, товарищи, мы всей душой с большевиками». Помню, как какой-то молодой парнишка в матросской тельняшке допытывал меня: «А если, например, я сам захочу на артиста учиться — смогу? А если наша Советская власть откроет рабочую музыкальную школу — пойдете учить нас?»

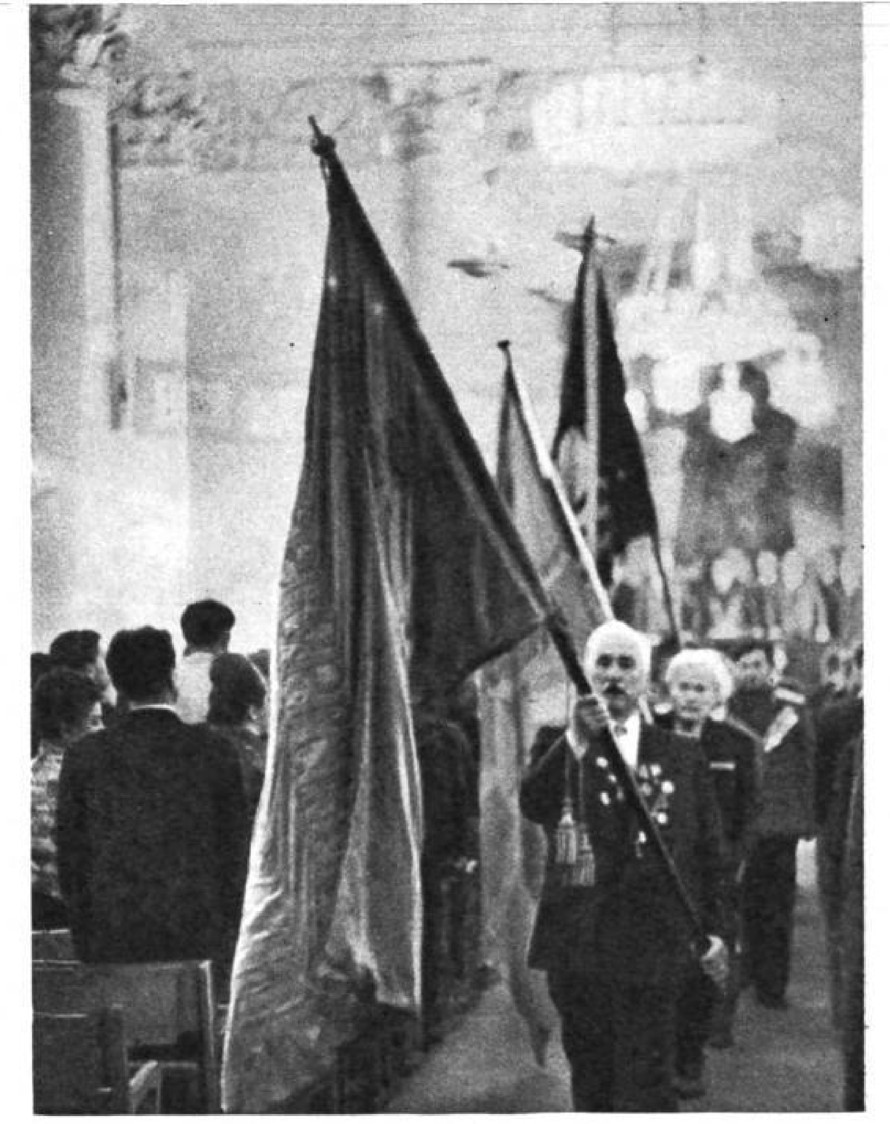
Где он, этот парнишка? Как хотелось бы мне сейчас встретить его и повести по классам консерватории, по классам нашего училища, познакомить с биографией ведущих ленинградских актеров.

Артистам бывшего Мариинского — ныне Кировского — театра рукоплещут в Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Афинах, Токио... Талантливый его коллектив — мастера балета и оперы — это воспитанники советской школы, дети рабочих, крестьян, служащих, а иные сами в недавнем прошлом рабочие, солдаты. Есть и матросы. Один из них — народный артист республики Иван Бугаев — пришел на сцену с боевого корабля Черноморского флота. Сын колхозника, Иван Бугаев окончил Ленинградскую консерваторию и быстро завоевал популярность у зрителей и слушателей. Я рассказываю вам об этом, а сама думаю: чему удивляться? Это же наши будни.

* * *

...Концерт окончен. Притих Актовый зал Смольного. Кто откроет торжественное заседание, посвященное первой годовщине установления власти рабочих и крестьян в России? Поднялся один из старейших членов партии Петр Тюшин, именем которого ныне названа одна из улиц Ленинграда.





Актовый зал Смольного. Год 1966-й. Идет Октябрьское чтение. Торжественно проносят красные знамена.

-КРАСНЫЙ !

— Я счастлив,— сказал он,— что благодаря власти пролетариата имею возможность на пятьдесят втором году своей жизни слушать такую прекрасную музыку, о которой в продолжение всей своей прежней жизни не знал. Еще год назад мы были рабами... Сейчас год, как мы живем хозяевами! Поздравляю вас с великим высокоторжественным праздником.

...В Актовый зал Смольного на заседание Петросовета прибыла делегация уральцев. Рабочие и военные вошли в зал с большим красным полотнищем.

— Знайте, дорогие питерцы,— вручая знамя, сказал рабочий-уралец Ермаков,— мы будем стойко защищать Урал от натиска контрреволюции. Пусть помнят петроградские рабочие, что уральцы не забывают Петроград, они твердо стоят и будут стоять на защите революции!

Драгоценная реликвия сохранена до наших дней и выставлена для обозрения в музее. На знамени начертано: «ПИТЕРУ ОТ КРАСНОГО УРАЛА». «ЗА ФЕВРАЛЬ, ЗА ОКТЯБРЬ И ЗА БРАТСКУЮ ПОМОЩЬ НА ФРОНТЕ!»

...Смольный! Многие приезжают сюда за тысячи верст, чтобы взглянуть на исторический памятник и посмотреть комнату, в которой жил и работал В. И. Ленин. Люди, пришедшие в Смольный на экскурсию, обязательно заглянут в белоколонный Актовый зал. Что там, как он выглядит нынче? И мы вместе с ними зашли сегодня в зал. То, что в нем много народа,— это не удивительно: здесь часто бывают многолюдные совещания. Но сегодня, судя по всему, тут не обычное собрание. На стенах — кумачовые полотнища, плакаты первых лет революции. Под звуки марша тех времен ветераны вносят овеянные славой знамена крейсера «Аврора» и Петербургского комитета РСДРП(б).

Почетные места в зале занимают старики, те, кто видел и слышал Ленина, кто создавал первое в мире государство рабочих и крестьян, кто принимал его первые декреты. Рядом — тоже немолодые уже люди — герои первых пятилеток. Сегодня в Актовом зале в честь 50-летия Советской власти идет Октябрьское чтение.

Октябрьские чтения в Смольном — это своеобразная эстафета поколений. Ветераны революции и гражданской войны, организаторы первых колхозов, герои пятилеток и Великой Отечественной войны встречаются в Актовом зале Смольного с юношами и девушками, которые лишь сегодня или только вчера вступили на самостоятельный трудовой путь.

ЕЩЕ ОДНА СТРАНИЦА

«Москва, 7 ноября (Роста). Тов. Ленин получил следующую экстренную телеграмму: «Доблестные войска Н-ской армии шлют горячее поздравление с Великим праздником и подносят город Ижевск. Ижевск взят штурмом».

Из газеты «Год пролетарской революции».

Эту диковину каждый может увидеть своими глазами. Надо только приехать в Центральный музей В. И. Ленина, подняться по широким ступеням и пройти в зал. На одном из стендов под стеклом лежит миниатюрная винтовка — точная копия тех, с какими наши отцы и деды завоевывали и отстаивали Советы. На пластинке, прикрепленной к винтовке, выгравировано: «Великому пролетарскому вождю тов. Ленину на память о взятии Ижевска от 2-й железной дивизии и революционного гражданского Совета». Рядом дата: «19 $\frac{7}{XI}$ 18 г.». В этом изящном, красивом подарке и любовь народная к своему вождю, и гордость тружеников своим мастерством, и спокойная уверенность: руки рабочих смогут все.

Сделал редкостную винтовку ижевский оружейник Прокопий Васильевич Алексеев, ныне пенсионер.

— Трудная была работа, ювелирная,— вспоминает он.— Вес моей винтовки в 64 раза меньше, чем у обычной. Все детали такие маленькие, что для сверления отверстий пришлось изготовить специальную дрель. Она и сейчас хранится у меня. Делал я винтовку и все думал: пусть Ильич посмотрит, что могут наши рабочие руки. Потом мне говорили, что подарок этот Ленину понравился.

И еще большую радость доставляли Владимиру Ильичу известия, что ижевские рабочие посылают Красной Армии — тысячу за тысячей — настоящие боевые винтовки.

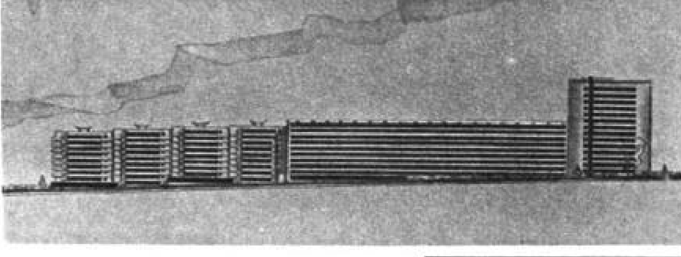
В наши дни город обрел новую славу. Попробуйте заговорить о нем и услышите:

— Хорошие там мотоциклы делают...

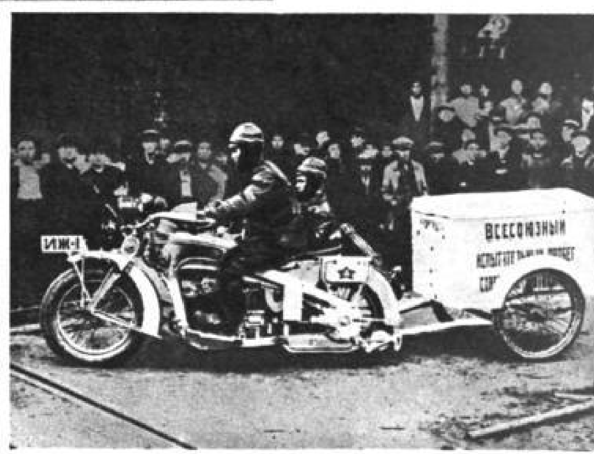
— И ружья охотничьи...

— Это ведь в Ижевске отковали коленчатый вал мотора того самолета, на котором Чкалов, Байдуков и Беляков в 1937 году совершили свой знаменитый беспосадочный перелет через Северный полюс в Америку...

И многое, многое другое можно услышать об Ижевске. А город в общем-то невелик. Улицы его тем интересны, что конца их увидеть невозможно. Они прыгают с холма на холм, где-то там выныривают, чтоб снова спуститься вниз. Так и скачут со своими домами, магазинами, машинами, телевышкой, с пешеходами, с озорными мальчишками и тихонькими девочками... Весь город из таких улиц. По одной из них мы идем с удмуртским писателем Семеном Самсоновым к Василию Павловичу Красноперову. В 1918 году Василий Павлович сопровождал эшелон с хлебом для московских рабочих — подарок крестьян Сарапульского уезда — и побывал в Кремле, на приеме у Ленина. Вернувшись из Москвы, дрался с белыми бандами, был схвачен, приговорен к расстрелу. Бежал. Его вторично схватили и препроводили на баржу смерти — плавучую тюрьму. Снова бежал. Вот какой старик! Живая история. Мы проходим мимо памятника Ивану Пастухову — первому руководителю партийной организации Ижевска и исполкома Совета. Он и теперь с винтовкой — вечный защитник города...



Такой будет одна из улиц Ижевска в нынешнем пятилетии.



Первый мотоцикл «ИЖ-1» отправляется в испытательный пробег в Москву. На мотоцикле — один из его конструкторов, В. П. Можаров.

Друзья с улицы Героев

«КИЕВ. В Киеве сейчас главный вопрос дня: уйдут германцы или нет? Всякому ясно, что без поддержки германского штыка бутафорское правительство украинского гетмана не просуществует и двух суток... Час бури приближается, и она сметет карточный домик украинской Скоропадчины и даст измученному народу Украины свободно жить и трудиться...»

Из газеты «Год пролетарской революции».

Конечно, это просто случайность, что киевлянин Владимир Тимофеевич Малькевич живет на улице Героев революции. Но люди, хорошо знающие его, усматривают в этом нечто символическое. Ведь Владимир Тимофеевич — бывший арсеналец, солдат, участник январского вооруженного восстания 1918 года — словом, герой революционных событий в Киеве.

Владимиру Тимофеевичу недавно исполнилось семьдесят лет. В этот день в его доме собрались старые боевые друзья. Пришли Александр Евтропиевич Кураков, Василий Ильич Стригин и другие арсенальцы, вместе с которыми поднимал он знамя Советской власти, громил петлюровские банды, изгонял кайзеровских оккупантов. Были, разумеется, в тот день и воспоминания.

...Молодая Страна Советов отмечала свой первый юбилей. Киев в те дни бедствовал под властью гетмана и германских оккупантов. Остановились многие предприятия, пятнадцать тысяч рабочих сидели без работы. Любого подозрительного бросали в тюрьму. Большевики ушли в глубокое подполье. Но город жил и боролся. По ночам смельчаки расклеивали на домах листовки с призывом изгонять с украинской земли буржуазных националистов и иноземных поработителей. Выходила газета «Киевский коммунист».

И вот наступило 7 ноября 1918 года. Утро. Напряженное, тревожное. Всюду сновали военные, на площадях и у крупных предприятий — шеренги солдат. Рабочие спешили на свои заводы. Нет, не работать — просто побыть вместе в этот день. Бастовали «Арсенал», Южнороссийский, заводы Гретера и Криванека и многие другие. 9 ноября Д. З. Мануильский так сообщил Владимиру Ильичу о первой годовщине Великого Октября: «В Киеве была однодневная забастовка, несмотря на то, что в город были вызваны дополнительные войска и артиллерия...»

Навсегда остался в памяти Владимира Тимофеевича Малькевича день 7 ноября 1918 года. На «Арсенале» с импровизированной трибуны звучало призывно и твердо: «Долой гетманско-кайзеровский режим! Да здравствует Советская власть!».

Вечером Владимир Тимофеевич тайком пробрался на тихую улочку невдалеке от завода. Там, в домике его товарища Садовского, договорились собраться арсенальцы, чтобы отметить первую годовщину Октября.

Затея была опасная: везде сновали шпики, а за арсенальцами особенно следили. Условный стук в окно — и в комнате появляются все новые и новые люди. Настроение у всех приподнятое.

— С праздником, товарищи! — говорит Садовский.— С первой годовщиной нашей власти!

— Какая же она наша,— с грустью замечает кто-то.— Сегодня опять арестовали целую группу...

— Ничего, в Питере, в Москве она наша. И в Киеве скоро настанет светлый день!

«Саратов, 7 ноября. От представителей села Широкого... Саратовской губернии, поступило предложение послать безвозмездно голодающим детям Петрограда 20 вагонов хлебных грузов...»

Из газеты «Год пролетарской революции».

Дождь собирался долго, почти полдня, и широковцам уже надоело его ждать. Ударил он только вечером. День устал от жары, от пыли, от бестолковых криков мужицкого схода и теперь покорно и тихо умирал под тяжелыми струями воды. Мутный поток забубнил в овраге, который исстари привыкли называть ущельем. По крутому его склону поднимались двое. Старуха Федотовна, и в дождь не покинувшая своего места у окна, одного из путников узнала сразу: «Степка Патрин. А кто же с ним? Может, из города кто? В кепке... Видать, рабочий».

С утра добрая половина села Широкий Буерак уже знала о приезжем. Мужики потихоньку собирались около избы председателя сельсовета Патрина, крутили козьи ножки, строили догадки.

— Небось, какую новость привез.

— А я вот слыхал, скоро все поровну будет. У Симонова, гляди, три лошади, а у меня ни одной.

— Голь несчастная,— взъерепенился Симонов,— ты с мое поворочай, а потом равняй!

Загалдели мужики, растревожились. Снова, в который уж раз, встала перед ними извечная проблема своего, собственного. Дико им казалось сломать нерушимый порядок вот так сразу. Видно, время еще не приспело. Шел 1918-й.

Приезжий вышел на крыльцо. С ним Степан Патрин и парнишка лет шестнадцати, Умников, секретарь. Толпа примолкла, и горожанин, сдернув с головы мятую кепку, шагнул вперед.

— Товарищи! Я рабочий петроградской фабрики «Скороход». Зовут меня Иван Осипов. Я приехал к вам, чтобы сказать: рабочие Питера просят у вас помощи. Они голодают сами, нечего есть их детям. Хлеб нужен сейчас. Чтобы рабочий мог делать ружья для Красной Армии, гвозди, плуги и ситец для вас. Я обращаюсь к вам от имени миллионов голодных детей. Помогите им!

1918 год принес тяжкие испытания молодой Советской власти. Мировая буржуазия кричала на все лады, что Советы долго не продержатся, что их раздавят внутренняя разруха и голод.

В то время пуд ржаной муки стоил: в Москве — 150—170 рублей, в Петрограде — 350—400 рублей. Хлебный паек постепенно снизился до восьмушки — 50 граммов. 24 июля в Петрограде хлеба не выдали совсем. Рабочие пухли от голода, а кулаки и спекулянты наживались.

И вот он, Иван Осипов, питерский рабочий, стоит перед крестьянским сходом. Понимает всю трудность своей задачи. Знает: в селе есть кулаки — человек двадцать,— и влияние их еще очень велико. Но он знает и другое: в селе много бывших красногвардейцев, а уж их-то убеждать не надо. А вон того дядю с кабаньими глазками и рыжей бородой агитировать бесполезно. Видно сразу: ничего не даст. А вот этот, в шинели, наш. И тот тоже и тот... Так взвешивал Иван Осипов все «за» и «против», пока держал свою речь. А когда он кончил, выскочил вперед Михаил Уткин.

— Чего ты нас агитируешь? Ты вон их агитируй,— и показал на уходящую прочь группку кулаков,— их. От себя же кладу полмешка пшеницы для детей рабочих. Больше не могу.

— И от меня тоже полмешка...

— Я даю три пуда...

Вечером несколько подвод с хлебом отправилось к пристани. На мешках Афанасий Умников вывел: «От крестьян села Широкое». Первый бой был выигран... И, может, именно на этом крестьянском сходе впервые дала трещину извечная страсть к собственности...

...В 1925 году о селе Широкий Буерак узнала вся страна. Со страниц газеты «Правда» писатель Ф. И. Панферов в очерке «Огневцы» рассказал о решительном повороте широковцев к новой жизни, о создании первой артели в этом селе, о ее заботах и нуждах и о главном — перевоспитании крестьянства в условиях строительства социалистического общества. Очерк тот был предвестником романа «Бруски», посвященного становлению советской деревни.



Вечный

Нам привелось повстречаться с несколькими старожилами и послушать их рассказы о жизни в то время. И перед нами встало село с хатенками, крытыми соломой, село, которое чуть не каждый год терзали пожары. Трудно было представить те дома на месте современных.

— Наш колхоз «Россия» не чета первой артели «Сеятель», куда я вступил более сорока лет назад,— говорит Михаил Иванович Уткин.— Никакого сравнения! В 1930 году у нас было два «фордзона» и молотилка. Потом, конечно, пошла подмога из города. Прислали тракторы, затем комбайны, приехали рабочие-механики, которые нас делу учили. Сейчас в колхозе 52 трактора да 17 комбайнов. Можно сказать, вся страна Широкому Буераку помогала. Но и мы в долгу не оставались: давали хлеб. Не столько, как теперь, но давали.

Мы простились с Уткиным и отправились бродить по селу. Мимо добротных домов колхозников, электростанции, столовой, мимо новой школы, аккуратного кирпичного домика, окруженного садом, детских яслей, мимо больницы, библиотеки, хлебопекарни...

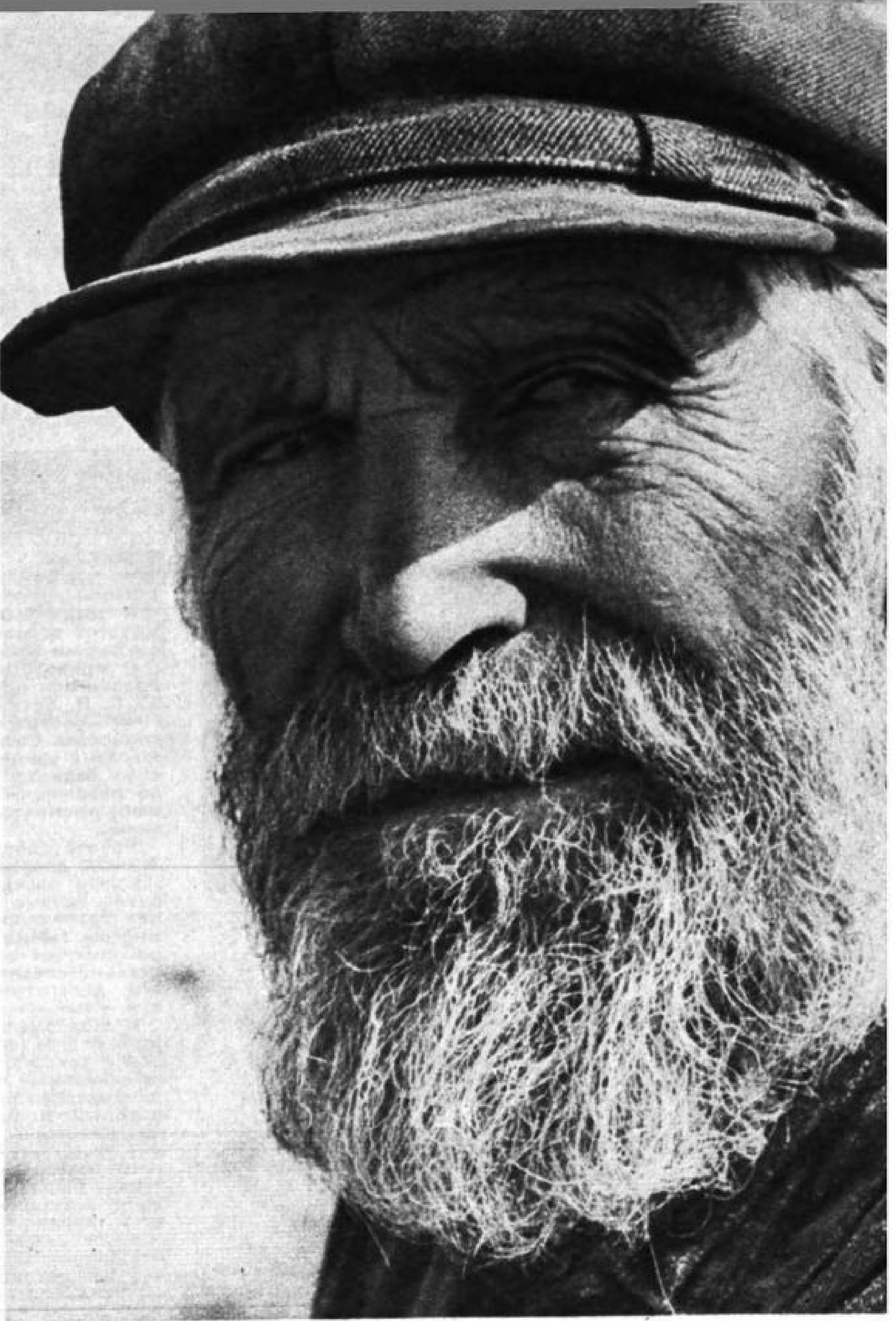
Улица привела меня на крутой берег Волги. Как-то незаметно опустились сумерки. Вдали, километрах в семи, вспыхнули огни строящейся Саратовской ГЭС. Работать тут будут турбины, изготовленные в Ленинграде. И примерно через год в Ленинградском политехническом институте защитят дипломы Александр Чугунов и Наташа Чопова, приехавшие туда из Саратова.

...48 лет назад бедняк с саратовской земли объявил на сходе: «Даю полмешка пшеницы детям Петрограда». Душевный этот ответ на призыв питерского рабочего Ивана Осипова окупился сторицей. Он проложил первый след в новой жизни. По той дороге, где остался этот след, и сейчас идет в Ленинград и во все концы страны саратовский хлеб. Этот след вечный.



Пройдет немного времени, и вступит в строй Саратовская ГЭС. Пока же дел хватает и внизу и наверху. Внизу — бригада бульдозеристов Анатолия Рюмшина ведет засыпку правобережной пазухи Волги. А наверху — у бригады монтажников Александра Дзюнзика — другие заботы: она монтирует нижнее кольцо направляющего аппарата гидротурбины, изготовленной Ленинградским металлическим заводом имени XXII съезда КПСС.





Один из старейших колхозников «России», Василий Михайлович Бубнов. Несмотря на свои 75 лет, Василий Михайлович хорошо держится в седле. Все это лето он пробыл за Волгой: заготавливал сено для своего колхоза.

СЛЕД



Александра Сергеевна на Дворцовой площади со студентами сельскохозяйственного техникума имени С. М. Кирова. 1966 год.

ГДЕ ВЫ? ОТКЛИКНИТЕСЬ!

«Несмотря на окончание работ съезда комитетов Деревенской Бедноты, большинство его участников, получив приглашение Петроградского Совета рабочих и крестьянских депутатов, остались на дни празднества в Петрограде».

Из газеты «Год пролетарской революции».

Вот три фотографии. Они сделаны в разное время. Но все имеют отношение к одному и тому же событию — съезду комитетов деревенской бедноты Северной области. Сначала о первом снимке. Он экспонирован в двадцать первом зале нашего музея. В краткой аннотации сказано: «открытие 1-го съезда комбедов Северной области. 3 ноября 1918 года».

Открытие съезда! А на фотографии — от края до края заполненная людьми Дворцовая площадь в Петрограде. Не ошибка ли в аннотации? Нет, все верно! Дело вот в чем: ожидали, что на съезд приедут шесть-семь тысяч делегатов, а приехало вдвое больше. Где ж найти зал для такой аудитории? Где заседать?

И тогда было решено: открытие съезда комитетов деревенской бедноты произойдет под открытым небом на исторической площади.

С приветственной речью обратился к собравшимся председатель бюро по созыву съезда С. П. Восков, известный революционер, рабочий Сестрорецкого завода, комиссар продовольствия Союза коммун Северной области. Он выразил уверенность, что городская и деревенская беднота, тесно сплотившись, доведет дело революции до полной победы. Пламенные речи произнесли товарищи Свердлов, Луначарский...

Работа съезда продолжалась в Таврическом, Зимнем дворцах и в залах Народного дома.

Съезд заседал несколько дней. В ту пору очень трудно было с продовольствием. И успех революции, успех борьбы с ее врагами во многом зависел от тесной смычки крестьян и рабочих, от их крепкого союза. Рабочие пристально следили за работой съезда и помогали его делегатам — крестьянам Северной области,— как могли.

В этом смысле весьма интересен второй снимок. Вглядитесь в него: среди бородатых крестьян со свертками под мышкой — девушка в белоснежном платке. Это Александра Сергеевна Сидорова-Бицкая, одна из сотен активисток, которым пришлось в те дни изрядно потрудиться, чтобы делегаты, приехавшие из дальних сел, почувствовали всю теплоту питерского рабочего гостеприимства. Александра Сергеевна была прикреплена к делегатам, которые жили в Европейской гостинице. Она здравствует и поныне — вы ее видите на третьей фотографии, сделанной на Дворцовой площади. Александра Сергеевна — частый наш гость. Вот что она рассказывает о съезде комбедов.

— На третий день, помню, кончился хлеб. Чем гостей кормить? Положение с хлебом в городе было чрезвычайно острое. И все же областные партийные организации раздобыли продовольствие.

Съезд комитетов деревенской бедноты прошел успешно. Делегатам уже можно было отправляться по домам. Но питерские рабочие пригласили их остаться еще на два-три дня и вместе отпраздновать годовщину Октября. В праздничных колоннах крестьяне шествовали рядом с рабочими. А вечером вместе с ними пошли в театры, кино, на концерты.

И вот день отъезда. Железнодорожники приготовили для делегатов специальные поезда, а питерские рабочие — подарки: литературу, папиросы, продовольствие. Я сфотографировалась с крестьянами сразу после того, как им вручили подарки...

Такова история трех фотографий, связанных с комбедами, которые сыграли огромную роль в борьбе за хлеб, за развертывание социалистической революции в деревне. Где сейчас дети крестьян, запечатленных на давней фотографии? Может, стоят они сегодня во главе колхозов и совхозов? Откликнитесь, пожалуйста, товарищи!

А. БОГДАНОВА,
заведующая отделом фондов Музея Великой Октябрьской социалистической революции



Открытие 1-го съезда комбедов Северной области. Петроград. 1918 год.

Делегаты съезда после получения подарков. В белой косынке — А. С. Сидорова-Бицкая. 1918 год.



СУДЬБА ДВОРЦОВ

«Торжества в Красном Питере. Праздник профессиональных союзов. Открытие Дворца труда...»

Из газеты «Год пролетарской революции».

В тот вечер со всех петроградских окраин съезжались в центр города рабочие. Ликующий народ заполнил обширную площадь, прилегающие к ней улицы, набережные. А виновника торжества — большой, величавый дворец — расцветили огни иллюминации.

Залы дворца повидали множество гостей — высокопоставленных чиновников, князей и графов, приближенных ко двору. Однако никогда за все время своего существования дворец не принимал слесарей и кузнецов, ткачей и токарей. Впрочем, сегодня, в первую годовщину социалистической революции, они пришли сюда не как гости, а как хозяева. Пришли, чтобы отпраздновать открытие Дворца труда. По ленинскому декрету его передали рабочим для нужд профессиональных организаций. Так Советская власть порешила судьбу одного из сотен петроградских дворцов.

Наш корреспондент встретился с участником тех торжеств инженером Павлом Ивановичем Усановым. Один из вожаков районной комсомольской организации, он был тогда на празднике, позже слушал во дворце Владимира Ильича Ленина.

— Владимир Ильич подписал декрет о передаче дворца рабочим в первый же месяц Советской власти — одиннадцатого декабря семнадцатого года. А торжественное открытие состоялось восьмого ноября 1918-го. Профсоюзы уже успели обжиться в непривычных дворцовых условиях, и рабочие запросто разгуливали по нарядным залам. На празднике товарищи вспоминали о том, как еще совсем недавно, чтоб поговорить о профсоюзных делах, приходилось нелегально собираться в подвалах, харчевнях.

Во время торжественного открытия Дворца труда кто-то из ораторов сказал:

— Пролетариат сам построит дворцы, роскошные, достойные победителей!

Такие очаги культуры у нас, в Ленинграде, стали возникать еще в двадцатые годы. Но как бы мы ни гордились ими, рабочим очень дорог первый Дворец труда, переданный нам Лениным.

Вы в любой день встретите там и рабочего, и ученого, и артиста, и служащего. У каждого свои дела: заботы о соревновании, изобретениях, хлопоты жилищные, туристские, санаторные. Во дворце — областные комитеты профсоюзов, территориальный Совет управления курортами и домами отдыха профсоюзов. В его ведении — 42 местных санатория и дома отдыха.

Жизнь в этом здании не утихает и вечером. Я там часто бываю. В актовом и танцевальных залах, гостиных и кафе проходят интересные встречи. Клуб энтузиастов дал путевку многим новаторским начинаниям рабочих.

Встретишь здесь и ветерана труда — главу целой династии строителей кораблей или турбин — и паренька, заводской стаж которого исчисляется месяцами. Юношей и девушек тут посвящают в рабочий класс, шестнадцатилетним вручают паспорта, рабочим, дающим продукцию высшего качества, торжественно передают личные клейма.

В других дворцах бывшей столицы Российской империи — всемирно известные музеи, клубы рабочих, интеллигенции, вузов...



ГВАРДИЯ

Алексей **ПАНТИЕЛЕВ**

Повесть

Рисунок В. Богаткина.

1

Таких дней в Москве было два, а может быть, полтора.

Небо светилось холодно, бледно, дышало зимой. На нем лежали дряблые морщины. Упорный ветер толкался на улицах. Над крышами, над проводами летел черный пепел сожженных и сжигаемых бумаг и кувыркался, подобно голубям турманам. В магазинах давали по карточкам вперед, сколько возьмешь. Отоваривали корешки карточек и талоны, которые обыкновенно ничего не означали. В заводских дворах, в учрежденческих подъездах сидели на вещах люди, дожидаясь погрузки. Радио молчало. Каждые два — четыре часа оно коротко объявляло, что через два — четыре часа выступит председатель Моссовета. Потом оно играло марши. Ранняя снежная крупа мелась по асфальту и ложилась размашистыми полукружиями, как из-под громадной метлы.

Непривычная тишина разлилась по городу. Так и по ночам не бывало тихо в Москве. Тем быстрей разносились слухи. Слухи однообразные: такой-то из такого-то главка улепетнул по бывшей Владимирке, а ныне шоссе Энтузиастов, в Горький, на персональной машине, прихватив с собой столько-то государственных денег. И больше ничего. Вдруг из открытого окна на всю улицу, на весь квартал слышались пьяные крики и пение. На это окно оглядывались, как на внезапный визг автомобильных тормозов. Старая дворничиха Егоровна в Пушкаревом переулке останавливала знакомых и незнакомых и говорила, что жена истопника Абдулиха бросила в топку профбилет своего мужа. И никто не мог сказать ей здравого слова, все молча отмахивались.

«Как же так? Где же наша сила?» — спрашивал себя в эти дни Федор Шумаков.

Он не боялся за Москву, потому что знал: Москва не Париж. Она не объявит себя открытым городом. И если тому быть, то будет здесь, на улицах, бой, какого свет не видывал.

Но немцы уже под Москвой... Федор думал об этом с отвращением. Недаром фашисты приняли для своего мундира коричневый цвет, цвет дерьма. Загажена наша земля от границы чуть ли не до Мытищ. Федор читал в газетах, как спесивы и наглы были летом немецкие военнопленные. Он вспоминал кадры из кинохроники: как старики с непокрытыми головами в Париже, в Брюсселе закрывали лица трясущимися ладонями при виде немецких танков и плакали. Вот что пришло на нашу землю!

С малолетства Федор жил без отца, без матери, рано попал в заводскую семью и прожил в ней целую жизнь. Давно он забыл свое детское сиротство, привык к тому, что он не один на свете. А теперь опять осиротел.

Знаменитый завод, на котором Федор работал, был вывезен в Омск еще летом.

Обезлюдел огромный двухъярусный красавец — сборочный цех. Похожие на шлюзы, ангарные его ворота приоткрыты. На стапелях красные тряпицы с обрывками знакомых слов: «...летку», «...лизму».

Опустел родной механический. Фундаменты из-под станков расколоты, ободраны ломами. Цементная крошка еще свежа, чиста. Смотришь на нее и стонешь.

А мозг завода — ЦКБ? Недавно надстроенное, широкооконное здание, из которого Федор не раз выносил чертежи... Оно словно уснуло. Снаружи видно, что в нем мусора по щиколотку.

Война все изломала. Военное лето Федор прожил сам не свой. У него из ума не шло то, что он услышал 3 июля: у Сталина дрожал голос. Булькала вода, которую он наливал себе, позвякивая графином о стакан... Может, это был не Сталин? Ошеломили Федора неожиданные, жуткие слова о том, что надо рушить все за собой, отступая. Все, что строили, чем гордились одну, другую, третью пятилетку! И совсем не понял Федор, как немцы могли обмануть нас. Гитлер вероломный... Но это детишкам было ведомо. За месяцы и месяцы до войны дивился Федор, зачем идут в Германию с Украины большие эшелоны с продовольствием и какие такие мы и они друзья?

В июле, в августе каждое утро, каждый вечер Федор ждал сообщения: наши наконец ударили, погнали назад. Потом он стал ждать другого сообщения: наши остановились, стоят.

И вот тогда-то, еще до того, как опустели заводские цеха, сиротливое чувство проникло в душу Федора, такое чувство, какое испытываешь в дурном сне перед тем, как проснуться.

Ему приказали ехать в Омск с первым эшелоном, в первую очередь. Он отказался. И была тому причина, которую он скрывал со стыдом. Он знал, что жена Зинаида не поедет никуда без своего сундука. Тащить сундук в теплушку... срам. Люди брали в отъезд самое нужное. Ни мебели, ни матрацев. Погрузка шла безжалостная, торопливая, как нищенские похороны. Из одного вагона детскую коляску выкинули. И ходила по вагонам шуточка:

— Не на дачу едем.

Федору в дни эвакуации пришлось туго.

— Ты как думаешь, на тебя наложена бронь наркома для чего? Для тебя не ехать — значит дезертировать! И кому это приходится объяснять — секретарю партийного бюро ведущего цеха!

— Прошу... оставьте меня до последнего...

— До какого «последнего»?— Этого Федор и сам не знал.— Смотри, секретарь, сейчас берем семьи... теток-дядьев, тещ! А там, не ровен час, поедешь без жены, без детей.

— Ладно. Все равно...

— Нет, не ладно. Нам не все равно. Имей в виду, разговоры пошли нехорошие. Неясно, почему Шумаков в такой момент... неясно!

— Жена у меня больная.

— Будет чепуху пороть!

— Больная, друг... совсем больная...

Завод оставлял в Москве небольшую команду — для особых целей. Шумакова уважили, включили в эту команду. Хотели назначить старшим. Но он и тут воспротивился:

— Лучше не надо.

Больше ничего от него не добились.

Ушел первый эшелон. Ушел последний. И не стало в Москве знаменитого завода. И вообще его не стало... Он на колесах, думал Федор, и впереди тысячи километров малой скорости. Когда-то он сойдет с платформы, и станет на фундаменты, и поднимет стапеля, и спустит с них тяжелую птицу со спаренными пулеметами и бомбовыми люками! Когда-то она пойдет на вираж над ночным Берлином... А немцы уже тут, на ближних подступах.

Днями и ночами Федор бродил без дела по выпотрошенным цехам с пистолетом «ТТ» на брезентовом поясном ремне. Делать было нечего. Когда спускался по лестнице с цеховых антресолей, пистолет поколачивал его по боку.

Две ночи в сентябре и октябре Федор пробыл дома. Мылся, менял задубевшее белье. Зинаида, точно безумная, ласкала его, не выпускала из рук. Встречала с четвертинкой, провожала до проходной. И речи ее были безумные:

— Феденька, ты мой. Я без тебя пропащая. Феденька, помираю без тебя.

А он ловил себя на том, что не верит ей. Было время, вот такие же слова он сам ей говорил, и она сердито отмахивалась:

— Бубнишь одно и то же. Завел свою пластинку. Будто я тебе не жена, а эта...

Тогда он ловил ее руки, держал, заставлял слушать. Она прикидывалась, что терпит. Толь-

ко получив подарок, обнимала. И опрометью кидалась к своему сундуку — прятать, хоронить... Теперь дарить ей нечего и нет охоты. И даже обнять Зинаиду Федор не торопился.

Обе ночи, в сентябре и октябре, была воздушная тревога, бомбежка. Вдали, вблизи слышались удары фугасок. Дом вздрагивал. Во вторую ночь вдоль дома, на тротуаре, цепочкой упали зажигалки. Одна загорелась у простенка, между окнами, под которыми стояла кровать Федора и Зинаиды. Он хотел выскочить тушить, она не пустила, оплетя его руками и ногами. Зажигалка догорела дотла, осветив подвал, словно прожектором. От нее на тротуаре остался свинцового цвета грибок, похожий на заклепку.

Сын Вовка до отбоя пропадал на крыше. Дочка Маша, пока не уснула, вслушивалась в шепот матери.

— Феденька! Пускай все горит. Лишь бы ты был со мной.

— Умно придумала...

— Умней не придумаешь.

— А о чем люди думают, не примечала?

— На людей оглядываться — окосеешь. У тебя есть жена. Ну, и знай свое... что тебе богом назначено...

«Разве ты жена?» — думал Федор, сжимая железными ладонями ее круглые прохладные плечи.

Она слабо охала, шепча:

— От тебя одни синяки... Тискаешь, как колхозник.

А потом словно подкрались те памятные два или полтора дня. Единственный раз за всю войну в сводке говорилось так: «Положение на Западном направлении фронта ухудшилось».

Команде, оставленной на заводе, велено было приступить к своему делу. Позвонили по телефону, дали срок.

Федор сел на рельс у ворот сборочного, сорвал с головы кепку, швырнул себе под ноги, закурил, дымно, часто затягиваясь, сказал гулко, как в рупор:

— Не буду.

Дорогá была каждая минута, каждая пара рабочих рук. Товарищи бегали мимо него с пакетами в плотной бумаге, похожими на фасованное сливочное масло. Кричали ему, задыхаясь от спешки:

— Ответишь, Шумаков!

Ругали его матерно.

Он тряс косматой головой, бил себя кулаками в грудь. Волосы на его висках слиплись от пота. Щеки, заросшие смоляной щетиной, тряслись. И он тоже кричал:

— Не могу!.. Братцы! Я этот цех складывал по камешку! Нет моей мочи!

Начальник команды, молодой парень, медник четвертого разряда, то ли пятого, вынул из кобуры свой «ТТ», со щелчком спустил предохранитель и скомандовал Шумакову:

— Вставай, тебе говорят! Шлепну на месте саботажника!

Федор глянул на него исподлобья, сказал потише, чтоб другие не слышали:

— Лучше уйди, Петя. А то встану, выну свою пульку, начну вам мешать. Куда это годится?

Парень отошел. Федор обхватил голову руками, уткнулся носом в колени и застыл.

Он не помнил, за сколько часов уложили ребята желтые пакеты под цеховые устои, приладили к опорным балкам, подвязали к мостовым кранам, закрепили в стенах и этажных перекрытиях. К пакетам протянули тонкие плетеные проводочки и жирные бикфордовы шнуры. Сделали на совесть, грамотно, согласно схемам, которые развернул начальник команды. Работали без перекура. Управились быстрей, чем думали. И стали ждать звонка по телефону, выступления по радио председателя Моссовета или иного сигнала.

Все собрались около Шумакова, сели на тот же рельс, что и он, на землю, припорошенную редкой снежной крупой.

Посидели, покурили, помолчали. Дело было сделано, балакать не о чем.

Федор встал, поднял кепку. Постоял, словно прислушиваясь к тишине, и попросил:

— Покажите.

И все пошли показывать ему, где заложены толовые шашки. Шли тесной толпой и молча тыкали пальцами то под ноги, то под крышу, а парень-медник тыкал пальцем в схему, придерживая Шумакова за рукав, чтобы не споткнулся о провода.

Спускались сумерки, синеватые, глухие, как в лесу. Снег пошел гуще. Федор не покрывал головы.

Незаметно подошел дежурный, которого посадили у телефона. Остановился поодаль, переминаясь, ощупывая свою грудь. К нему кинулись.

— Что? Ну, что? Говори, что? Приказали?

Дежурный зябко повел плечами, качнул головой.

— Молчит...

— Иди назад! Не отходи ни на шаг!

Тот забормотал:

— Не пойду я... Сажайте другого. Дайте смену. Пусть кто-нибудь еще послушает... Я с вами...

Начальник команды назначил к телефону другого, но и тот замотал головой.

— Иди сам.

Медник пошел и тут же вернулся бегом.

— Федор Федорович... я прошу, идите вы... А то еще не так услышу, не пойму, напутаю!

— Да... это да...— сказал Федор и зашагал к заводоуправлению.

За ним пошли все.

Ждали у телефона, у репродуктора до утра. Никто не уснул, ни один не задремал. Завыла воздушная тревога, объявил Левитан отбой. Небо за ночь расчистилось и как будто потеплело.

Зазвонил телефон. Все вскочили. Звон был оглушительный. Шумаков долго не поднимал трубки. Ребята не торопили его. Наконец он приложил ее к уху, назвал номер завода, назвал себя и сказал две фразы:

— У нас готово... А мы ждем...

Не трогаясь с места, ждали еще до полудня. И во второй раз зазвонил телефон. Шумаков взял трубку, послушал и проговорил упавшим голосом, так, будто у него судорогой свело губы:

— Есть... Слушаюсь... Понятно... Шумаков...

Все стояли. А он сел, ссутулился, закрыл глаза ладонью и засопел, зафыркал, кусая и облизывая губы. Минуту спустя он открыл сухие глаза, откашлялся и прохрипел совсем обессиленный:

— Рви к чертовой матери... Это... это! Провода рви... Снимай взрывчатку... От... от... меняется... Отбилась Москва.

Теснясь, вышли в заводской двор, стали сматывать провода. Федор оглядел ребят, снял с себя ремень с пистолетом, отдал его меднику Пете, сказал обыкновенно, спокойно:

— Ну, так... Все! Ясно.— И пошел к проходной.

— Вы куда, Федор Федорович?

— Бриться.

В ближайшей парикмахерской он побрился, разрешил сбрызнуть себя одеколоном, чего прежде избегал, и, не заходя домой, поехал в военкомат.

Пришлось обратиться к комиссару. Комиссар, посмотрев документы Шумакова, покачал головой.

— В армии вы не служили. Только сборы... На своем заводе вы командир, знатный мастер. Орден Ленина. А в армии... рядовой! Вас учить надо.

— Сейчас этому все учатся,— сказал Федор.— Вон профессоров, доцентов берете в ополчение. Чем я хуже? Дайте мне один разок разобрать станковый пулемет — соберу вслепую!

— Не имею права, дорогой товарищ. Вы оборонная промышленность. Бронь наркома.

— Что же мне, идти в горвоенкомат?

— Дело ваше. Попробуйте. Но вряд ли... Мой совет: если настаиваете, проситесь у своих, у своего главного, на заводе.

Федор усмехнулся:

— Наш главный знаете где? В Сибирь поехал.

— То есть как? Вы... хоть и доброволец, а не болтайте!

— Я не болтаю, товарищ комиссар. Вообще... мой завод в Омске.

— Эвакуирован? Давно?

— Сколько уж месяцев!

— А вы? Почему вы здесь?

Федора осенило.

— Вот... безработный,— проговорил он, запинаясь.— Безработный...— сказал он.

Комиссар сызнова посмотрел документы.

— Что ж вы раньше не приходили?— спросил он сухо.— Так недолго и в штрафную, Шумаков.

— Жена не пускала...

— М-да. Придется вам написать объяснение.

— Есть! Можно листик бумажки?

— Пройдите в отдел. И продумайте хорошенько, что будете писать.

— Понятно... Спасибо. Большое спасибо.

В тот день Федор побывал в бане и в парилке спустил с себя килограмма два веса. Мылся с удовольствием. За один час помолодел, посветлел. Он спешил, чтобы не прознали товарищи и не поспели к военкому.

На другой день Зинаида все же привела их... Но Федор был уже пострижен, обмундирован и поставлен на довольствие в маршевую роту. Быстро дело шло, без задержки.

Ребятам Федор сказал:

— Вы не путайте, не мешайте. В Омск напишите, чтобы прислали мне партийную характеристику.

— А сами вы не темните, Федор Федорович?

— Нет, Петя! Сейчас все ясно.

— Слышал я разговор...— сказал Петр.— Не знаю, насколько верно... Якобы нам — разворачивать новый завод на старом месте...

— Да ну! Это правильно. Вот это — другое дело. Вы пристройте там мою... законную... хоть уборщицей... Она чистоплотная. Ей пособите.

— Пособил. Пристроил. Обзаконил,— со злостью шептала Зинаида, кусая скомканный носовой платочек.

Маршевой роте положено быть на марше. А марш предстоял недальний. Провожали Федора под вечер. Состав подали к пассажирской платформе, на первый путь, к самому вокзалу. Вагоны были дачные, старого образца, с узкими оконцами.

Дул ледяной ветер, валил с ног. Полы солдатских шинелей надувались и хлопали, как паруса. Женщины, придерживая круглые, точно шары, юбки, метались по платформе, разы-

РАЗЛИВ

В Петрограде четвертого июля 1917 года юнкера и казаки обстреляли по приказу Временного правительства мирную демонстрацию рабочих и солдат. Начался разгул контрреволюционной реакции.

«После июльских дней мне довелось, благодаря особенно заботливому вниманию, которым меня почтило правительство Керенского, уйти в подполье. Прятал нашего брата, конечно, рабочий»,— писал позднее В. И. Ленин.

Серьезная опасность угрожала жизни Владимира Ильича. Центральный Комитет партии вынес решение укрыть В. И. Ленина на станции Разлив, у рабочего Сестрорецкого завода Н. А. Емельянова.

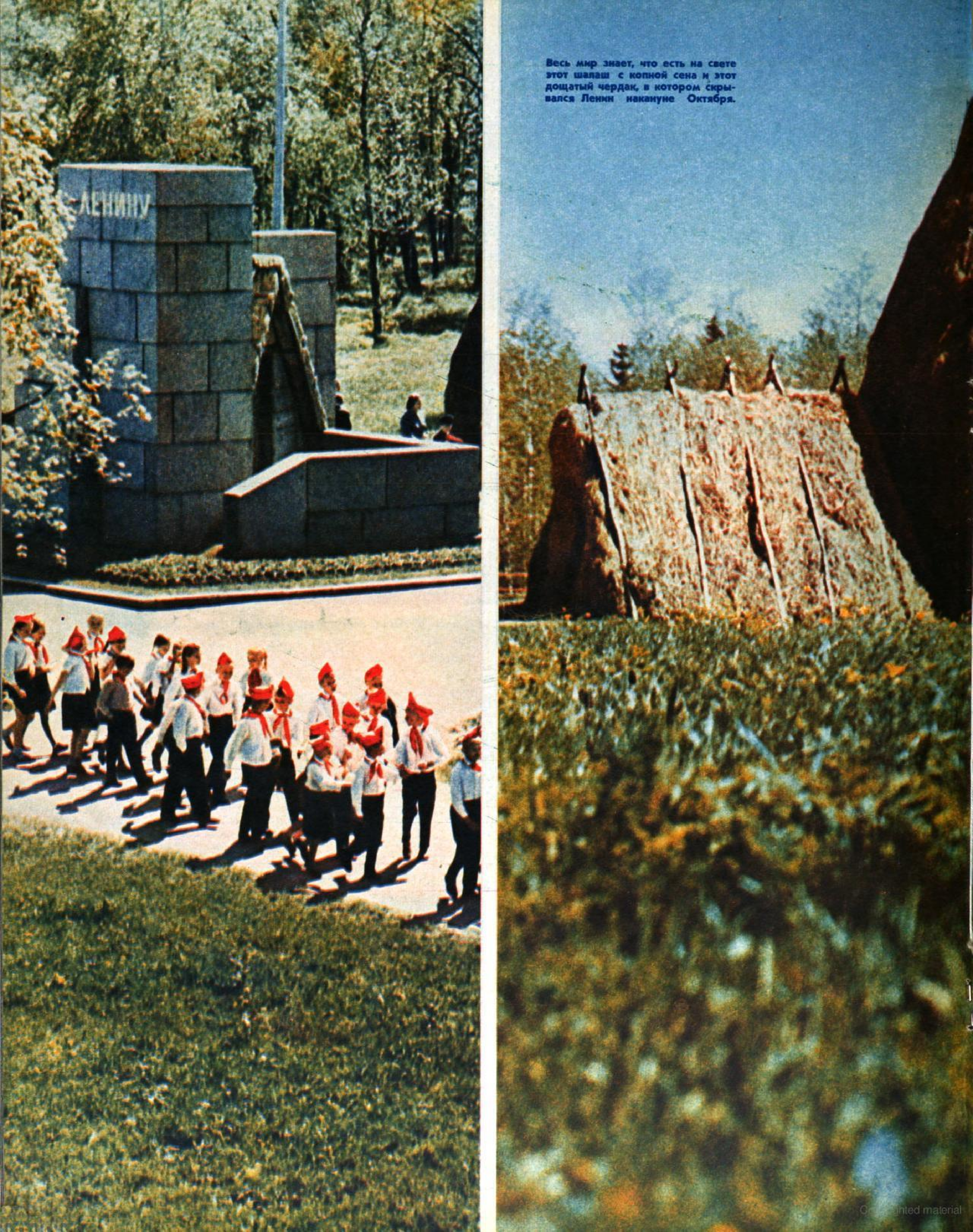
...Осень 1966 года. Здесь все хранит память о великом человеке, о днях, проведенных им в Разливе. Поистине не зарастают и никогда, покуда существует мир, не зарастет сюда народная тропа. Люди всех континентов приходят в Разлив, в этот неяркий уголок северной русской природы.

Отголоски огневого предоктябрьского времени словно застыли здесь на века.

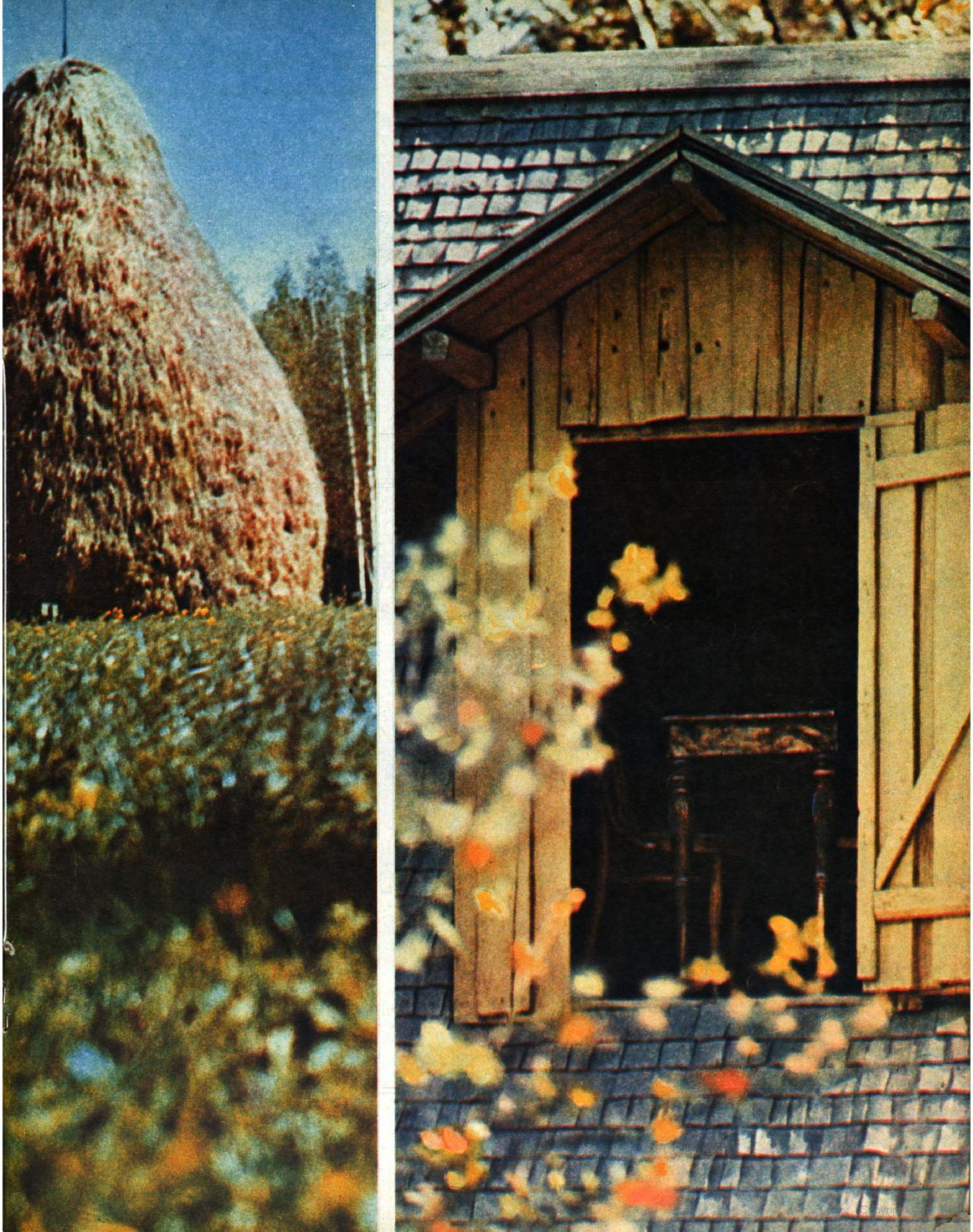
Здесь, по этой земле, ходил Владимир Ильич. Ленинградские пионеры — частые гости в Разливе.

Фото Л. БОРОДУЛИНА.

Новый экспозиционный павильон полон света.



Весь мир знает, что есть на свете этот шалаш с копной сена и этот дощатый чердак, в котором скрывался Ленин накануне Октября.





К этому берегу причалила лодка с Владимиром Ильичем. Сейчас здесь сооружена памятная каменная пристань. Вдали — новые кварталы Сестрорецка.



Гости из братской Румынии.



Шумит, волнуется озеро, ставшее волею истории одним из знаменитейших уголков земли.

скивая своих. И стоял над вагонами сплошной бессловесный бабий вой, от которого и у мужиков заходилось сердце.

Зинаида голосила, как деревенская старуха, висла у Федора на плечах, хватала его озябшими ладонями за лицо.

— Феденька, миленький, зачем ты это сделал? Что же ты со мной сотворил! На кого ты меня покидаешь? Я бы с тобой — на край света! Я бы все... все бросила! И сундук... ейбогу... Все бы сделала по-твоему, как ты велишь!

— Не дури. Хоть сейчас не дури,— говорил ей Федор, отталкивал ее и тянул к себе за руку сына.

Вовка, встав на носки, из-за спины матери тянулся к уху отца.

— Ты не бойся, папаня. Я ей ходу не дам. Я ее приструню. Не бойся, папаня.

Маша вцепилась в полу отцовской шинели, как в подол юбки, и замерла.

За свистом ветра, за женским плачем едва слышно прокричал гудок. Вдоль состава запрыгала протяжная команда:

— По-о-о... го-нам!.. о-онам!.. го-о... а-а...

Федор наклонился, схватил и прижал к себе Машу, невнятно, нежно выговаривая:

— Ты моя дочка. Ты одна в меня. Прощай, моя любонька. Кровиночка.

Состав пошел. Ребята оторвали от Федора Зинаиду. Им он не поспел и рук пожать. Володьку тряхнул, обхватив ладонью его затылок.

С подножки вагона Федор оглянулся и разглядел в поздних сумерках, что Зинаида висит на руках у ребят без чувств. И чуть было не спрыгнул назад. Застонал, никого не стесняясь:

— Ох, Зина!..

2

Дома, в родном квартале, его имя произносили с почтительным протяжным придыханьем: Дусмах-хаммат. В армии он назвался короче и проще: Дусмат. По профессии он был продавцом, бакалейщиком. По призванию — музыкант, из тех, которые играют на свадьбах. Человек балованный и сытый.

В воинский эшелон он попал после трибунала. Судили его за самоволку: опоздал в часть на сутки, явился пьяный, расхристанный, с флейтой в руках... По военному времени дали ему десять лет, послали в штрафную роту. Но штрафников не набралось ни роты, ни даже отделения. И потому назначили ему конвоира, поместили в теплушку вместе с другими бойцами. Конвоир, пожилой, молчаливый уйгур, держался с ним, как с товарищем, вообще стеснялся своей роли. Вначале в теплушке лишь догадывались, что вот этот жирный, мордастый с флейтой едет вроде бы под конвоем. А в Кзыл-Орде конвоир заблудился на станции, отстал от эшелона и так и не нагнал его. И постепенно забылось, кто в теплушке штрафник.

Оно-то, может, и не забылось, но как-то ночью один солдат спросил у него:

— Документ при тебе есть какой?

— Нет документов. Документы у того...

— Ну, и помалкивай в тряпицу. Благодари своего аллаха. Спросят — скажешь: посеял.

— А вы... никому не скажете? Вон сколько вас...

— Дура! Ох, и темная!.. Протри глаза-то!

О нем знали и в соседних вагонах, потому что всю дорогу он играл на флейте — то русские песни, нетеперешние, стародавние, то свои, узбекские, тоже чувствительные. Хорошо играл. Флейта его пела печально и пронзительно. После Кзыл-Орды, поскольку продаттестат остался у конвоира, его кормили в складчину, из ротного котла, угощали, кто чем мог: и водкой и домашними пирогами, пока они были. А в конце пути он незаметно попал в общую строевую записку.

Все же он сильно похудел — от холода. Непрестанно он зяб, ежился, трясся, отчего и спал плохо и был желто-синий.

Думал он только о том, как бы согреться. Больше ничего не разумел. Если заговаривал, то об одном — о ташкентском летнем зное. Горячего чаю мог выпить ведро. Пил его, млея, щурясь, постанывая от блаженства. И тут же задремывал, сидя. Когда его звали в другие вагоны поиграть, спрашивал:

— Чай будет? Чаю дашь?

Ко всему остальному он был глух. Только сводки выслушивал с интересом, но смутно понимал, что происходит. Ему ничего не хотелось. Он жил тайным страхом: каков он, зимний российский мороз?

Войну Искандеров представлял себе по древним былинам — дастанам, которые он любил и почитал с детства, и никогда не думал, что он, простой смертный, не батыр, станет воином и поедет на большую-большую войну под стены Москвы, о которой он тоже с детства слыхал песни и необыкновенные рассказы. С ним ехали на войну самые простые люди, такие же, как он, и это его удивляло, поскольку война и подвиги — дело избранных и героев.

Приехали в Москву. С Казанского вокзала на Белорусский шли строем, под музыку. Шли через центр, по главной улице. Но единственно, что он запомнил,— чистый асфальт, холодный ветер. И еще, пожалуй, неровные глухие звуки духового оркестра: тай-ра-тай-ра, тай-ра...

Его товарищи ждали, что пролетит еще день, вряд ли больше, и они с ходу пойдут в бой, в атаку, может, в рукопашную. И может, сразу, едва крикнешь «ура», кого-то секанет пуля или осколок. Добро, если не в голову... Так думают все новобранцы. Он об этом не думал. Он мерз.

Страшной выдалась следующая ночь. Немного они проехали на поезде, в дачных вагонах с заиндевевшими стеклами, опять высадились и пошли по свежему сухому снегу. Замотелило, но луна была видна, маленькая, с яблочко. Она стремительно неслась и прыгала по небу в тонких белесых облаках. Шли против ветра, по проселочной дороге, вьющейся, подобно змее. Строй качался, как маятник. Все горбились; снег жег, колол глаза. Шли неделю...

— Что, Дусматушка, лихо?— окликали его.— Поиграй, а?

Он стучал зубами. Продрог до костей. Руки в рукавицах засунул в карманы шинели, но и там не чувствовал их. Несколько раз он засыпал на ходу, утыкался лицом в спину переднего. Потом отстал. Замыкающий подхватил его и тащил под руку, полуживого, еще неделю.

Остановились посреди белого поля, у одинокого каменного дома без крыши. В доме было три этажа, много комнат и коридоров, но ни крошки дерева: ни окон, ни дверей, ни полов, ни стропил. Ободран до нитки, щепки не сыщешь. Дом гулко, низко гудел, как железная бочка, от перекрестных сквозняков.

Здесь объявили привал до утра, ночлег. В первом и во втором этажах на голых бетонных перекрытиях валялись комки соломы и сенца, слегка присыпанные снегом. В одну минуту солому и сено расхватали и разбрелись по комнатам, где меньше окон. Легли под глухими стенами тесно: спина к спине, колено к колену. Покурили, стали спать.

Дусмат Искандеров остался один без ложа...

Борис ПРИМЕРОВ

КРЫЛЬЯ, АДРЕСОВАННЫЕ ДАЛЯМ

СТЕПЬ

Степь, спокойная, как лебедь,
Мой избыток синевы,
Зацелованная небом,
Прошуми в густой крови!
Ах, не я ли был той былью
В беспокойной славе гроз,
Где седую грусть ковылью
На ладонях к сердцу нес?
Помню, помню каждый вечер
На земле в распеве струй
Так, как помнят
Самый вечный,
Самый первый поцелуй.
Так останься в сердце тесном,
От разлуки захмелев,
Коронованная песней,
Королева королев.
В платье легкого горошка,
Без печали и вины,
Ты рассыпь свои дорожки
Во все стороны весны,
Призови на помощь лето
И травой проговори,
Что нужны тебе поэты,
Как когда-то
косари!

* * *

Из-под сердца,
Из-под ладони,
Так, что вздрагивают небеса,
Развернулись зеленой гармонью
Наши северные леса.
Цокот месяца молодого.
Шапку вечера
озимь —
И стой!
Соловьиная Русь перед словом,
Перед лесом,
Перед травой.
Соловьиная Русь —
версты, кони,
Хоть не спрашивай,
Хоть спроси
О неудержной,
бойкой погоне
За всем песенным
На Руси!

* * *

Просвистят размороженным
свистом
Вьюги — белые соловьи.
Выйду ясным, лучистым и чистым
Во широкое поле любви.
Задышу во все светлое песнею,
Приоткроются руки сквозь снег...
Заходи, много раз интересная,
Много раз интереснее всех.
Заходи, освети душу-горницу
Светом глаз, светом ясных
зрачков,
Золотая моя поклонница
Задушевных моих стихов.
На земле все тобою оправдано:
Беспросветно завьюженный куст
Неуемно разросшейся радости
И ночами шумящая грусть.
Сколько свежести всемогущей!
У желаний большой простор...
Словно снежная белая пуща,
Средь безмолвья
Стоит разговор.

* * *

Плененный баянами сверху,
А снизу травой заточен,
Я буду твоим человеком,
Любовь воскрешенных времен.
Пройдусь по ветрам и тропинкам,
Войду в вечера, в ковыли
И всем расскажу без запинки
Всю заповедь здешней земли.
Сольюсь с непонятным и прежним,
С досель непослушным
Сольюсь
И буду ласкать тебя
Песней,
Как думу, как душу,
как Русь.
Любимой воскресшее имя,
Пролейся теплом через край!
Пусть жаворонками густыми
Наполнится свадебный май.
Свет свадебный, подвенечный,
Свет ясной, глазастой молвы,
И это почти бесконечно,
Как на́ сердце шелест травы.

Побродил по темным коридорам, пощупал в углах, не нашел ни соломинки. Колени у него дрожали. Он присел на корточки и тихонько завыл, сам того не замечая.

Кто-то свистнул из темноты.

— Эй! Кто там? Будет озоровать!

Искандеров пошел на огонек папиросы, споткнулся о сапог и с невнятным рычанием повалился ничком на лежащих людей, закопался меж ними, готовый вцепиться зубами в горло тому, кто его вытеснит. Но его не гнали. Один сонно пнул его в скулу локтем, другой приладился щекой к его мягкому боку. Уморились все, спали часа полтора, не ворочаясь. Никто не храпел.

Искандеров угрелся и тоже уснул. Ему снилось, что он лежит в чайнике с кипящим чаем.

Он думал, что умрет в ту ночь. Однако утром оказалось, что он не заболел, не застудился, даже насморка не схватил. Ветер стих, припекло солнце, снег засиял. И Дусматушка вынул из-за пазухи флейту, пустил трель.

Привели их в сожженную деревню, без жителей, разместили в землянках с дощатыми нарами, покрытыми еловыми ветками. Накормили супом и кашей из дымящихся котлов. Дали отдохнуть полдня и поспать в тепле. А на другой день повели ползать по снегу.

Ползали с рассвета до заката, в любую погоду, копали мерзлую землю маленькими лопатами. И так изо дня в день, без выходных. Изредка стреляли по фанерным щитам из винтовок. Искандеров не мог постичь, за что людям такая му́ка. Ну, допустим, ему это в наказание за то, что он провинился: ел, и пил, и играл в кости двое суток подряд, пока его силком не отвели в казарму. Но другие-то не штрафники!

Спас его странный человек — старшина Барабохин. Странный тем, что он был музыкантом и искал среди бойцов музыкантов. Старшина Барабохин дал Искандерову ватные штаны, вязаные варежки, не то свои собственные, не то из тех, что прислали на фронт воинам из тыла. И не велел больше ходить копать землю и ползать по снегу, а велел приходить с флейтой к штабной землянке.

Здесь каждое утро собирался целый оркестр. Старшина Барабохин играл на медной трубе, громкой, как зов пророка, и учил других играть вместе. Все играли по нотам, Искандеров — на слух. На холоде, на ветру застывали пальцы, губы, но он не жаловался. Оркестр играл, как в Москве: тай-ра́, тай-ра́, тай-ра́... Искандеров подыгрывал: фи-ти-пи́... фи-ти-пи́, фи-ти-пи́... И его флейту было слышно сквозь трубы.

Прибыло еще несколько рот красноармейцев — из коренных москвичей. Барабохин и среди них нашел музыканта, хорошего барабанщика, умевшего сыпать дробь так, что люди оглядывались: где идет поезд? где скачет табун? И никто не понимал, как это старшине не снимут голову за его музыку. Только ночами музвзвод поднимался по тревоге вместе со всеми.

Однажды к ним подошел высокий, сутуловатый человек в желтом полушубке, распахнутом на груди. У него были хмурые брови и строгий светлый взгляд, но походка не военная, легкая. Так ходят физкультурники или артисты. В петлицах его гимнастерки, под отворотом полушубка, виднелись две шпалы.

Он постоял за спиной Барабохина, удивленного и рассерженного тем, что оркестр вдруг заиграл вразброд. Послушал, как старшина кричит на тромбонистов, и сказал, морщась:

— Плохо, плохо. Из рук вон.

Барабохин обернулся, вытянулся, приложил руку к шапке вместе с трубой.

— Товарищ командир полка, музыкальный взвод...

— Десять суток! — перебил его командир.— Повторите приказание.

— Есть десять суток. Товарищ майор...

— Я сказал: в вечернее время, после боевой подготовки. Ну, час, ну, два — за счет тактики, хотя на вашу сегодняшнюю игру и того жалко... Кроме того, друг милый, вы кто такой? Верховный Совет? У вас во взводе штрафник! Вы, что же, ему амнистию устроили? Не забывайтесь, Барабохин.

— Товарищ майор... единственный флейтист...— взмолился старшина.— Неграмотный, но чудный слух.

— Ну-ка, покажите мне его.

Барабохин подозвал Искандерова. Тот подошел и сразу заиграл «Кирпичики», свой лучший номер.

— Хорошо-о,— сказал ему майор,— А вот врать в армии нельзя. Вы поняли меня? Нельзя в армии врать!

Искандеров часто закивал, испуганно улыбаясь, обтер рукавом свою флейту и стал играть колонный марш, который они разучивали: фи-ти-пи́, фи-ти-пи́, фи-ти-пи́...

— Немедленно отчислить,— приказал майор. И показал на запад.— Слышите?

Оттуда, из-за снежного холма, доносился протяжный тихий гром.

Но вышло так, что Искандеров остался в оркестре, а старшина Барабохин не отсиживал десять суток, и сыгровки продолжались, правда, не каждый день. Видно, бог музыки на небе есть, и он любил Барабохина.

На счастье Искандерова, был в полку, в первой стрелковой роте, еще один удивительный человек, по имени Федор, черный, как ворон, плечистый, как буйвол. Ему дивился сам Барабохин и на перекурах постоянно о нем что-нибудь рассказывал.

— Первое, что тебя просто останавливает,— эт-то голос! Куда там нашему протодьякону, солисту Большого Михайлову! Вот Федор, так уж действительно Дор-мидон-тович... Вполне мог бы голосом — партию тубы или геликона, только не спеша, в темпе «ларго»... Но у него песня своя. При мне пришел к командиру полка, отодвинул меня ручищей, как кисейную занавеску, и спрашивает: «Товарищ майор, долго мы будем ползать по снегу да в трубы играть? Или мы ждем, чтобы немцы поближе подошли к Москве? Заманиваем, как говаривал Суворов? Вторая неделя идет, а мы еще немцев, ни живого, ни мертвяка, в глаза не видели».

— И что же майор?

— Смеется... Знаете, какой он заводной! «А мне,— говорит,— наша полковая музыка нравится. Она мне по душе». Потом усаживает его с собой ужинать, наливает ему сто грамм. Я стою, не дыша, слушаю. А Федор поднял кружку и поставил назад. «Мне,— говорит,— иной хмель нужен. Я,— говорит,— привык знать, что делаю, зачем делаю и когда сделаю. Не может того быть, чтобы немецкий солдат был учение, образованней нашего. Сейчас не тысяча девятьсот четырнадцатый год. А я по сей день не знаю, в чем их умение, наше неумение. Покуда я этого не знаю, я не боец, а инвалид... И еще,— говорит,— второе. Надо мне знать, обязательно надо: верно ли, что командующий нашей армией, генерал-майор,— бывший профессор военной академии? Должен быть вроде бы от такого ученого человека толк. И потом брешут, будто он был репрессирован, но освобожден? Если,—говорит,— это слух, то и слух хороший. А если — факт, для меня это крепче и веселей всякой водки!»

— Неужели так сказал? И ничего ему не было?

— Было... Получил звание замполитрука. Носит четыре треугольника, как я. Второй человек в роте после командира...

— А что майор ответил насчет нашего командующего?

— Много будешь знать — состаришься.

Искандеров слушал с любопытством. Больше всего его поразило то, что Федор сказал командиру полка про ползание по снегу, сказал то, что все думали, но робели сказать, а ему за это — четыре треугольника!

Незаметно прошли праздничные дни, в которые Искандеров, бывало, много пил, много веселился, а ныне выпил всего лишь сто граммов. И вдруг необычайное, ошеломляющее известие... Его принес Барабохин, оно казалось неправдоподобным: в Москве, на Красной площади, в метель был военный парад! Федор, услышав это, сказал:

— Понятно.

В соседней рощице, которая казалась Искандерову нескончаемым дебревым бором, на опушке появились танки, замаскированные хвоей. Обычно туда посылали Дусматушку за сушняком. Он ходил охотно, хотя под каждым кустом ему мерещилась медвежья берлога, и он боялся заблудиться, как тот уйгур в Кзыл-Орде. Теперь сушняком завладели танкисты.

Неожиданно сыгровки оркестра прекратились. Морозным утром командир полка приказал построить полк в полном составе на поляне, перед рощей. Встал в строй и музвзвод — без инструментов, с винтовками. Вдоль опушки, под орудийными стволами, покрытыми еловыми ветками, выстроились экипажи танков.

Командир полка легко, молодо вскочил на большой пень.

— Замполитрука Шумаков! Ко мне.

Федор вышел из строя, побежал через поляну широким, машистым шагом и замер перед майором, приставив винтовку к ноге. Доложился зычно, так, что на опушке отдалось эхо.

— Стой здесь, около меня,— сказал ему командир полка.

И Федор встал рядом с комиссаром и начальником штаба.

— Так вот, товарищи бойцы, товарищи командиры,— проговорил майор, выпрямляя сутуловатые плечи.— Всю жизнь мы учились, сколько себя помним. И считаем, что в этом наша сила. Вот и сейчас на учение нам с вами дано время... По мирной мерке считанные дни, по военной мерке огромное! По одному этому можете судить, какая надежда на наш полк, скажу прямо, у генерал-майора, командующего армией и у Военного Совета. Коммунисты полка правы: много мы потратили на азы. Но без азбуки грамотен не будешь. Нынче беремся за арифметику, она нужна и для старослужащих. Будем учиться: по-первых, не бояться танков, во-вторых, не бояться своего огня. Да, да! Своего огня, товарищи... идти за ним, как за щитом. Ясно, Шумаков?

— Ясно, товарищ майор.

— Попробуем... Барабохин! Давайте одного бойца. Посмотрим, на что вы годны. Давайте свою флейту с чудным слухом!

Барабохин, белый, как бумага, подвел Искандерова к командиру полка. Искандеров тут же полез было за пазуху за своей аспидной палочкой-выручалочкой с серебряными клавишами... Барабохин, как школьника, шлепнул его по руке.

— Э...— крякнул Искандеров, виновато морщась и качая головой.— Зима... Зы-ма...

Командир полка смотрел на него ясным холодноватым взглядом из-под хмурых бровей; и другие смотрели на Искандерова с недоброй усмешкой: сейчас, мол, согреешься.

Кто знает, что бы с ним сталось в той пробе! Но опять его спас странный человек — на этот раз Шумаков. Вдруг раздался голос Федора, слышный на всей поляне:

— Товарищ майор, разрешите обратиться. За что же ему такая честь? После военного трибунала... И потом вы смотрите: ему холодно. А что это значит? Это ж самое страшное — он не понимает своего солдатского дела. Ему же воевать, товарищ майор...

— Вижу, вижу,— сказал командир полка.— Эх, Барабохин... милый ты мой друг...

— Товарищ майор,— добавил Федор,— разрешите мне с флейтой вдвоем. Оно много лучше будет. И мне и ему не так боязно.

— Вдвоем? — повторил командир полка и раздумчиво повернулся к комиссару.— А ведь это идея: попарно! Н-надежней. Спасибо, замполитрука, спасибо... Действуй!

Посредине поляны была выкопана узкая длинная щель. Шумаков и Искандеров спрыгнули в нее, и Искандеров чуть не напоролся на штык своей винтовки. Щель была Федору по плечи, Искандерову — по висок. Им дали по две тяжелых противотанковых гранаты и по две литровых бутылки, закупоренных пробками, запечатанных сургучом. И отошли. Поляна вокруг щели опустела.

Искандеров высморкался. В щели было теплей, чем наверху. Небо из нее казалось просторней и мягче, а солнце — ближе. Искандеров сощурился, подставляя лицо его лучам, когда Федор толкнул его в плечо.

— Вон куда смотри! — И показал на опушку.— Гранаты у тебя где?

Искандеров обиделся.

— Э... четыре треугольника...— проговорил он, причмокивая и потирая плечо.— Что ты меня бьешь? Зачем это нужно?

— Гранаты, гранаты... Гляди в оба! — зло крикнул Федор.

Искандеров глянул в сторону рощи, и нижняя челюсть у него отвалилась.

Окончание следует.

Л. ЛЕРОВ,
специальный корреспондент
«Огонька»

Блокнот, полный солнца

Заголовок этот подсказан коллегами из югославского журнала «Свет»: я их гость. При первой же встрече гость сказал, что «обременен» приятной обязанностью:

— Дорогие друзья мои! На пути в Белград, пересмотрев первые свои записи в блокноте, я пришел к неожиданному выводу: у меня появилась вторая профессия — почтальона.

Я достал блокнот и стал называть фамилии людей, живущих в разных городах и селах Югославии, людей, которым я должен доставить от их личных советских друзей почту — открытки, книги, альбомы, фотографии, просто сердечные приветы, а иным низко-низко поклониться и сказать, что их помнят, любят. Слушая меня, кто-то из коллег улыбнулся.

— Ваш блокнот полон солнца...

...Так и определился маршрут моего путешествия. Итак, в путь-дорогу. Компас: «Блокнот, полный солнца».

КРУТЫЕ ТРОПЫ РЕВОЛЮЦИИ

24 этажа недавно отстроенного здания—стекло, бетон, алюминий — ЦК партии Союза Коммунистов Югославии высоко поднимаются над левым берегом Савы, над «облакодерами» нового Белграда. На одном из этажей работает человек, которому я должен передать книги, альбом и тысячу приветов от друга всей его семьи, от одной из переводчиц его книги — Анны Гавриловны Назаровой. Книга эта готовится к печати у нас, в Москве. Мемуары Родолюба Чолаковича выйдут под многообещающим заголовком: «Рассказ об одном поколении».

Думается, что прочтется эта книга с огромным интересом, судя по тому, что я услышал от Родолюба Чолаковича. Это был рассказ одного из старейших членов Компартии Югославии о своем поколении, о современниках, храбрых солдатах революции, о поре своего духовного роста.

...Озорные огоньки поблескивают в окруженных неглубокими морщинками глазах. Высокий, спортивно сложенный человек, которому уже далеко за шестьдесят, весело, с юмором, иногда даже немного по-мальчишески рассказывает, как водил за нос тюремных надзирателей:

— В молодости я увлекался чтением ленинской работы «Государство и революция». Друзья на воле знали об этом и ухитрились тайком передать мне ленинскую книгу в тюрьму. А где держать книгу в камере, когда так часто устраиваются летучие обыски? И тут меня осенило. Я разодрал брошюру на листы, как мог, замусолил их и небрежно положил рядом... с библией. На самом видном месте. Никому из полицейских в голову не пришло, что этакая крамола соседствует с библией... Позже, в Москве, я перевел «Государство и революцию» на сербский язык. В ту пору московской жизни я часто вспоминал о своей деятельности переводчика, но в несколько иных условиях. В одной из тюрем королевской Югославии — Сремской-Митровице — я сидел вместе с Моше Пияде. Мы вдвоем переводили «Капитал» Маркса. Тогда же, в тюрьме, я перевел и «Финансовый капитал» Гильфердинга. Это было опасно. Но еще более опасным делом оказалось вынести свой труд из тюрьмы. Я знал, что в книге есть слова, которые приводят тюремщиков буквально в бешенство: «диктатура пролетариата». Тогда я на всех страницах вычеркнул эти два взрывчатых слова и заменил их весьма гладенькими, обтекаемыми —«демократическое возрождение». И представьте, перехитрил! Благополучно вынес Гильфердинга.

Свобода оказалась призрачной. Бывает так, что и на воле чувствуешь себя, словно в тюрьме: бдительное око полицейского надзора следит за каждым твоим шагом. Чолаковичу стало ясно: надо бежать и как можно скорее. Куда? Двух ответов на этот вопрос тогда не могло быть.

В Москву! В Москву, о которой грезил в бесконечно длинные тюремные ночи, о которой столько читал, слышал, пел песни.

Я смотрю на возбужденное лицо Родолюба Чолаковича и отчетливо представляю переживания человека, который после 12 лет мучительных тягот в застенках королевской Югославии вдруг попадает в страну, строящую социализм.

...Михаил Иванович Розенко, уроженец Киева. Так он значился в списках аспирантов международной ленинской школы. Так требовал суровый закон конспирации: ему ведь потом жить и работать в Югославии, в подполье. Сейчас, конечно, можно чуточку и посмеяться над самим собой, а тогда...

— Только приехал в СССР, облегченно вздохнул, дышу, наслаждаюсь московским воздухом, и вдруг беда: в трамвае стянули паспорт. Тот самый, на имя Розенко. Хоть плачь, хоть смейся. А товарищи возмущаются: «Шляпа! Ротозей!»

Пройдет почти тридцать лет, позади останется полная тревог и опасностей подпольная партийная работа в Югославии, поездка по поручению ЦК в Испанию, на Арагонский фронт, где в рядах интернациональных бригад сражались и югославские коммунисты; позади останутся партизанские отряды, полки Народно-освободительной армии, в боях добытая победа, рубеж, после которого жизнь, кажется, не продолжалась, а начиналась заново. И снова встреча с молодостью, с Москвой. Уже в 1964-м.

— Я тогда задумал вторую книгу своих мемуаров: побег в Россию; жизнь и учеба в Москве; тридцатые годы, радостные и тревожные: поступь пятилетки в СССР и грохот фашистских легионов в Германии; международная ленинская школа; возвращение в Югославию, в подполье. Перед тем как сесть за письменный стол, мне захотелось вновь окунуться в кипучую довоенную московскую жизнь, коечто поискать в архивах, перечитать «Правду» тех времен... Меня очень радушно встретили в Институте марксизма-ленинизма. Это великолепный институт с блестящей организацией дела. За каких-нибудь 15 минут среди сотен тысяч папок в архиве находят именно ту, в которой хранится документ, на сохранность которого ты и не рассчитывал. Представляете мое ощущение, когда я собственноручно листал отчет аспиранта международной ленинской школы Михаила Розенко о практике в колхозе? Или отчет о том, как я с Эдвардом Карделем на заводе «Каучук» проводил политинформацию?

...Неторопливо, пристально всматриваясь в дома и прохожих, шагает по Москве высокий, худощавый человек, которого все тут будоражит, которому все тут так близко, все напоминает об ушедшей поре его молодости. Он идет на улицу Воровского и долго, молча стоит у дома 25: здесь помещалась ленинская школа; потом на Гоголевский бульвар: тут было их общежитие. Отсюда на Волхонку: «Вот наши учебные классы...» Затем на Фрунзенский вал: там живет З. Л. Серебрянский (Чолакович с трудом разыскал его), он был заместителем директора их ленинской школы. Они беседуют, перебивая друг друга: «А помнишь?»

— Послушай, Родолюб,— говорит Серебрянский,— тебе о чем-нибудь говорит имя Стойко Раткова? Я читал недавно книгу об одес-



Родолюб Чолакович (справа) и Стойко Ратков.

ском подполье времен гражданской войны и вдруг встречаю Стойко. Знаешь такого?

— Стойко Ратков? Позволь, позволь, это же знаменитый партизан Вава! Силищи у него было на десятерых. Любопытно, где он теперь?

Через несколько месяцев Серебрянский получит из Югославии фотографию. Сидят рядом двое—высоченный Родолюб Чолакович и низенький, щупленький (кто бы подумал, что у него силища на десятерых!) Вава — Стойко Ратков. И письмо: «Дорогой друг, разыскал в Чуруге Стойко Раткова — Ваву, о котором ты мне рассказывал. Вава сейчас пенсионер, живет в родной деревне и пользуется уважением и любовью односельчан. Ему уже 70 лет, но он еще крепок и жизнерадостен. Весь день сидел с ним. Он интересно рассказывал о своем участии в двух революциях — Октябрьской и Югославской. Замечательный человек. Спасибо, что ты обратил мое внимание на него...»

Все это будет позже. А пока Чолакович здесь, в Москве, на Фрунзенском валу, слушает рассказ об одесском подполье грозного девятнадцатого года и о своем земляке Стойко Раткове. «Вот, оказывается, каким он был еще тогда, партизан Вава!»

...Гражданская война. При подпольном Одесском обкоме партии создается специальная Иностранная коллегия для работы среди войск интервентов. В нее входят французская, сербская, польская, румынская и греческая группы. ЦК РКП(б) для усиления коллегии направляет в Одессу группу коммунистов. Среди них знаменитая француженка Жанна Лябурб и серб Стойко Ратков. Они взрывали изнутри полки интервентов, рассказывая солдатам и матросам правду о Советской власти. Контрразведка долго и упорно охотилась за Иностранной коллегией. Но нашелся провокатор, подонок, который вывел шпиков на след. Первая группа подпольщиков была арестована вечером 1 марта в кафе Скведера. А через несколько часов на квартире были схвачены Жанна Лябурб, зашедший к ней Стойко Ратков и квартирная хозяйка с тремя дочерьми.

...Идет допрос. Нечеловеческие пытки. Силач Ратков, и тот еле на ногах стоит, тупая боль разламывает голову. Допрос ведут рыжий старичок лет шестидесяти и два бравых офицера — интервенты.

— За что бьете?— спрашивает Ратков плюгавого белогвардейца.

— Ты у них спроси, у иностранных офицеров, они тут распоряжаются.

Ратков еще и слова не произнес, но тут же получил две зуботычины. Резкий удар бросил на пол.

— Ты кто такой?— тычет кулаком офицер из контрразведки интервентов.

— Я серб.

— Ты сволочь, а не серб!

— Я не сволочь, а серб.

— Даю тебе пять минут на размышление. Если ты честный серб, то расскажешь нам... И потом убирайся ко всем чертям.

— Если вы хотите меня убить, то возьмите револьвер или нож и убивайте. Но именно потому, что я честный серб, я ничего не расскажу вам.

И не рассказал.

Арестованных усадили в две автомашины и куда-то повезли. Стойко Ратков хорошо знал Одессу и сразу сориентировался: везут в район еврейского кладбища. Везут не на прогулку. Везут расстреливать. Когда приехали на кладбище, офицер скомандовал: «Стой!» И приказал шоферам погасить огни фар и отогнать машины куда-то вглубь.

Дерзкий план созрел мгновенно, все равно терять нечего. Ратков схватил левой рукой револьвер на поясе офицера, а правой со всей присущей ему силой так стукнул охранника, что тот немедля свалился, сбив с ног еще двух карателей. Стойко Ратков спрыгнул с автомашины и, пригибаясь к земле, побежал к кладбищу. Вдогонку прожужжали пули. Одна, другая, и все мимо. Под покровом ночи он успел скрыться: интервенты и белогвардейцы настолько опешили, что даже не бросились в погоню. Видимо, опасались: этак и остальные разбегутся. Махнули на беглеца рукой и приступили к своему кровавому делу.

Далеко он не убежал. Притаился: «Что будет дальше, что ждет друзей, может, смогу помочь?» Увы, он ничем не смог им помочь. Залп. Еще залп. Из всего этого маленького отряда бесстрашных революционеров в живых остался только он один, Стойко Ратков.

...6 мая 1919 года на первой полосе «Правды» появилась статья: «Подробности убийства Жанны Лябурб». Статья начиналась так: «Помещаемое сообщение есть рассказ осужденного на казнь вместе с тов. Лябурб и убежавшего от расстрела сербского коммуниста тов. Раткова».

Так здесь, в Москве, Родолюб Чолакович, председатель комиссии по истории Союза Коммунистов Югославии при ЦК СКЮ, прочитывает героическую страницу жизни своего соотечественника, коммуниста Стойко Раткова, страницу, вновь и вновь напомнившую о великой силе интернационального братства борцов за правое дело. Еще не раз донесется до Чолаковича эхо гражданской войны в молодой Советской России. И не раз с чувством большого удовлетворения он будет встречать на страницах истории этой войны имена сербов, хорватов...

Из Москвы белградский гость отправился в Ташкент, в институт истории партии, прослышав, что там хранятся любопытные архивные документы о коммунистах-югославах, боровшихся за становление власти Советов.

— Да, действительно есть такие документы.

И ему приносят двадцать папок.

— Это все интересующие вас материалы. Они к вашим услугам.

Гость аж ахнул от радости: вот это находка!

— Когда мы летели в Ташкент,— рассказывает Чолакович,— я обещал Милице, моей жене, художнице, большой поклоннице памятников старины, что буду добросовестно сопровождать ее в путешествиях по музеям. Но тут я категорически заявил: «Прости, дорогая, но я не могу сдержать свое слово. Ты поедешь одна. Меня никакая сила не оторвет от этих папок...» Она, кажется, не очень-то простила меня. Но что делать?

И Чолакович рассказывает про двадцать папок так, словно вновь листает их.

— В тысяча девятьсот двадцатом на учете в ташкентской партийной организации состояло восемьдесят восемь югославов, бывших военнопленных. Отсюда, из Ташкента, они поддерживали связь с Москвой и отрядами югославских бойцов в полках Красной Армии. Из Ташкента большая группа наших коммунистов уехала в Москву на интернациональные курсы красных командиров. Читаю список этих товарищей и опять сюрприз: Душан Буача...

Голос моего собеседника дрогнул...

— Мы вместе сидели в тюрьме. Душан рассказывал нам, политзаключенным, о России, о Москве, о гражданской войне, о своем легендарном командарме Чапаеве. Нет, нет, я не оговорился: о своем командарме. Душан служил в интернациональном полку Чапаевской дивизии. И в тюрьме мечтал, как, вырвавшись на свободу, снова поедет в Советскую Россию, как встретится с чапаевцами... А мечты оборвала пуля. В сорок втором партизана Душана Буача расстреляли оккупанты, фашисты... И вот пожелтевший листок бумаги. Список... Душан Буача, по профессии парикмахер, командируется в Москву на интернациональные курсы красных командиров.

...Мысленно я не прощаюсь с Родолюбом Чолаковичем, так как твердо знаю, что мы скоро «встретимся». В Москве я обязательно разыщу большую книгу Родолюба Чолаковича — «Записки об освободительной войне». И, вероятно, не раз перечитаю строки заключительной главы — «В освобожденном Белграде»:

«...Только вечером вернулся я к себе домой... Меня охватило двойственное чувство — грусти и тихой внутренней радости. Казалось мне, что я вернулся домой не из того похода, который я начал в славном 1941 году, а из похода, начатого мною значительно раньше, еще четверть века назад, в далеком и все же близком 1919 году. Как раз в тот бурный год, когда лучи Октябрьской революции озарили измученную войной, голодом и всевозможными страданиями Европу, я, юноша, вместе со многими своими сверстниками вступил в борьбу за рабочую власть в нашей стране и на всем земном шаре. Как и многие, я верил, что нам предстоит последний штурм отжившего мира...

Оказалось, что не на штурм отправился я, а в длительный поход по крутым тропам революции».

В приведенных строках — его кредо, кредо коммуниста-борца.

ИНТЕРВЬЮ ОБ ИНТЕРВЬЮ

— Наша молодежь должна знать имена своих соотечественников, которым выпало счастье стоять у колыбели первого в мире социалистического государства. Особенно сейчас... Пятьдесят лет Октября — праздник коммунистов всего мира.

Я слушаю Перо Дамьяновича и попадаю в атмосферу больших предъюбилейных забот югославских историков, их интересных замыслов и исследований.

В самом центре Белграда, на многолюдной площади Маркса—Энгельса, высится огромное здание Института по изучению рабочего движения. Мы сидим в одном из кабинетов этого института и ведем разговор о ветеранах революционных битв, вспоминаем тех, кто вместе с русскими коммунистами, на русской земле дрался за молодую Советскую Россию. Мой собеседник — научный сотрудник этого института и ответственный редактор югославского журнала «Очерки истории социализма». В моем московском блокноте и его фамилия. Я привез ему сердечный привет от коллеги из Института славяноведения Академии наук СССР — В. Зеленина.

Перо Дамьянович — большой знаток ленинских произведений и всего того, что связано с их изучением в Югославии. Он бесконечно долго может рассказывать поистине романтические истории о том, как в королевской Югославии в пору фашистской диктатуры коммунисты тайно печатали и распространяли ленинские работы.

— Мы очень гордимся тем, что первые переводы трудов Ленина на языки народов Югославии появились у нас уже на заре нынешнего века. Орган Сербской социал-демократической партии газета «Радничке новине» поместила в декабре девятьсот четвертого года отрывок из «Что делать?»—«Что значит «свобода критики»?». Примерно в то же время газета опубликовала и второй раздел этого ленинского произведения, несколько изменив заголовок: «Энгельс об общности борьбы». Обратите внимание: ленинская книга «Что делать?» была напечатана в 1902 году, а в декабре 1904-го сербские социал-демократы уже читали Ленина на своем языке. Я вам приведу любопытную цифру. По собранным нами, однако, отнюдь не полным данным, труды Владимира Ильича либо самостоятельными изданиями — книги, брошюры,— либо в виде статей или выдержек, напечатанных в различных сборниках, газетах, журналах, публиковались более чем в 1 500 наименованиях. Это не считая довольно больших сборников избранных произведений. Крупнейшие работники нашей партии занимались переводом ленинских произведений. Коммунисты, брошенные в тюрьму, на каторгу, тянулись к свету ленинских книг. Переписывали их от руки. И по нескольку экземпляров. Приговоренный к смерти коммунист Иован Трайкович по памяти излагал товарищам «Государство и революцию»... Очень интересную историю поведал нам товарищ Иван Гошняк[1]. Он воевал в Испании и вместе с другими югославскими бойцами интернациональных бригад был заключен во французский лагерь «Гирс». И вот однажды заключенные получили с воли буханку хлеба. Разрезали ее, а в ней... крошечная книжица: «Империализм, как высшая стадия капитализма». К каким только ухищрениям не прибегала наша партия! В двадцать шестом году в Югославии вышла книга под прозаическим и весьма невинным названием: «Прививка плодовых растений». Полиции придраться не к чему: в помощь садоводам книга выпущена. Им неведомо, что издана-то она в помощь коммунистам. Партийный актив предупрежден: «Перелистай внимательно, и ты найдешь ленинскую «Военную программу пролетарской револю-

[1] Иван Гошняк — государственный секретарь по делам народной обороны СФРЮ.

ции» и еще две статьи по вопросам о войне и восстании». В пору нашей народно-освободительной войны книги Ленина печатались в горах, в партизанских типографиях и тайком переправлялись коммунистам, брошенным в гитлеровские концентрационные лагеря.

Дел сейчас у Перо Дамьяновича по горло: 50-летие Октября! Он один из соавторов большого, потребовавшего много времени и труда исследования — произведения В. И. Ленина на языках народов Югославии.

Как и все историки, Перо Дамьянович одержим жаждой поиска новых, мало кому или никому не известных материалов, открывающих еще одну страницу летописи революции.

— Сейчас я вам покажу очень интересное ленинское интервью.

И Перо Дамьянович несколько торжественно вручает мне фотокопию страниц югославской газеты «Знание», датированной 23 октября 1920 года. Я пристально рассматриваю фотокопию, но, не зная языка, могу только догадаться, что «шапка» на 8-й странице означает: «Советская власть сильна, как никогда». Ну, а что под «шапкой»?

Перо Дамьянович деликатно прерывает мои исследования.

— Здесь требуются комментарии. Дело вот в чем...

И я получаю прелюбопытное интервью об истории одного ленинского интервью. Частично оно уже известно читателям советского журнала «Вопросы истории КПСС». В апрельском номере за нынешний год было опубликовано сообщение: «Неизвестное интервью В. И. Ленина».

20 сентября 1920 года американский писатель, коммунист Джон Рид, находившийся в то время в Москве, обратился к В. И. Ленину с просьбой дать интервью его жене Луизе Брайант, нелегально приехавшей в Москву из Соединенных Штатов в качестве представительницы влиятельных газет, которые последовательно выступали за признание Советской России. Ей было поручено ежедневно посылать радиотелеграммы, и несколько сообщений она уже передала...

«Я считаю,— писал Джон Рид Владимиру Ильичу,— что было бы очень важно предоставить ей возможность встретиться с Вами и взять у Вас интервью, чтобы передать его в Америку именно сейчас, когда там неистовствует антисоветская пропаганда и вся капиталистическая печать изобилует нападками на Советскую Россию. За последние полгода Вы не давали интервью ни одному американскому журналисту».

И вот 14 октября 1920 года в газете «Вашингтон таймс» публикуется это интервью.

«Москва, по радио, в Берлин.

13 октября (ночью) Николай Ленин дал исключительное интервью «Интернейшнл ньюс сервис». Он принял корреспондента в большой, скромной комнате в бывшем здании Судебных установлений, в котором сейчас размещается Совет Народных Комиссаров. Совершенно отсутствовала какая бы то ни было охрана. Беседа проходила запросто, без каких-либо церемоний. Ленин был одет, как обычный деловой человек. Он был необычайно сердечен, и беседа проходила весьма оживленно. Он проявил большой интерес, задавая бесконечное количество тонких вопросов, которые свидетельствовали о его необычайных познаниях в области американской политики.

На письменном столе Ленина лежал экземпляр американской газеты, в котором дано описание съезда фермерской рабочей партии.

«Это свидетельствует о весьма важном и интересном событии в жизни (США)»,— сказал Ленин, взглянув на газету.

В своей беседе Ленин показал, что он внимательно следит за американской политикой и особенно за ее политическими кампаниями.

В беседе Ленин выдвинул следующие основные пункты:

1. После трех лет блокады и войны Советская Россия сильнее, чем когда бы то ни было раньше.

2. Россия хочет торговать с Америкой.

3. Американские капиталисты предвидят борьбу с Японией за преобладание на Тихом океане.

4. Глубокий интерес проявлен к фермерской рабочей партии в Соединенных Штатах.

5. Вожди республиканской партии начинают осознавать, что изоляция Америки является делом прошлого.

6. Советская Россия всегда выполняет свои обязательства.

7. Советская Россия — единственная платежеспособная страна в Европе».

...Все новое, все впервые открываемое и связанное с дорогим именем Владимира Ильича с огромным интересом читается коммунистами, в какой бы стране они ни жили. Но эта публикация в советском журнале была встречена югославскими историками с особым волнением. И были для того основания. Еще несколько лет назад, изучая библиографию переводов ленинских работ на языки народов Югославии, Драгич Качаревич и Перо Дамьянович прочли это ленинское интервью на пожелтевших за полвека страницах газеты «Знание» — органа передовых пролетариев югославского происхождения, проживающих в США. «Вашингтон таймс» опубликовала интервью 14 октября 1920 года, а «Знание» — 23 октября 1920 года.

— Такая оперативность, проявленная в 1920 году югославскими товарищами, нас, конечно, радует,— говорит Перо Дамьянович.— Но я хотел бы обратить ваше внимание еще и на такое обстоятельство. В газете «Знание» текст интервью дан значительно полнее, чем в «Вопросах истории КПСС». Вероятно, это привлечет внимание советских читателей, и в частности историков. Вот посмотрите на фотокопию. Тут есть несколько разделов, по-моему, еще неизвестных советским читателям. Может, это заинтересует «Огонек»?

Что я мог ответить на такой вопрос? Горячо поблагодарить. От имени «Огонька» и его читателей. Да, действительно, получив перевод ленинского интервью в том виде, в каком оно было опубликовано в газете «Знание», я прочел интереснейшие подробности беседы Владимира Ильича с Луизой Брайант.

Владимир Ильич, коснувшись американской политики в отношении Советской России, напомнил, что еще в 1918 году он говорил американцам и, в частности, полковнику Робинсу, что в интересах Соединенных Штатов поддерживать с Россией дружеские связи. С этим согласны и деловые люди, приезжающие в Россию из Америки. Их страна нуждается в большом количестве сырья, которое предлагает Советская Россия. С другой стороны, Советская Россия может закупить в Америке неограниченное количество мануфактурных товаров.

В. И. Ленин, указав, что после войны Советская Россия является единственной платежеспособной страной в Европе, обратил внимание на неуклюжую попытку американского государственного секретаря при президенте Вильсоне господина Колби извратить истинное положение дел. Колби сообщил итальянскому правительству, что якобы Россия не в состоянии выполнять свои обязательства.

Владимир Ильич по этому поводу заметил, что нет ни одного факта невыполнения советским правительством принятых на себя обязательств.

Читаю, перечитываю ленинское интервью и вспоминаю, как восторженно рассказывал мне Перо Дамьянович о находке югославских историков. Восторженно, с чувством большой гордости и в то же время скромности. Он так и сказал:

— Мы очень гордимся, что смогли внести свой скромный вклад в Лениниану.

Я поинтересовался:

— Как готовится институт к пятидесятилетию Октября?

— О, у нас большая программа. Я не стану всю ее излагать. Но одна публикация, на мой взгляд, необычна и вызовет интерес читателей. Мы хотим рассказать, как трудящиеся Югославии в разные периоды жизни нашей страны — с 1918 по 1945 год — праздновали годовщину Октября. Выясняется, что не было ни одной годовщины, которая так или иначе не отмечалась бы трудовым людом Югославии. Праздновали, конечно, по-разному. Но это всегда был праздник, как бы там ни лютовали полицейские королевской Югославии или гитлеровцы, оккупировавшие ее. Между прочим, у наших партизан в пору оккупации была такая традиция: начало самых тяжких боевых операций приурочивать к 7 ноября. В бой шли под лозунгом «Пусть торжествует дело Октября!».

Несколько юбилейных книг мы готовим совместно с Институтом славяноведения Академии наук СССР. Интересным будет сборник материалов, рассказывающих об участии трудящихся Югославии в Октябрьской революции. Некоторые из них здравствуют и поныне и пишут сейчас свои мемуары.

Перо Дамьянович с большой готовностью откликнулся на мою просьбу — помочь узнать адреса ветеранов, засевших за мемуары. И через два часа я уже попадаю в мир интереснейших воспоминаний старого человека с отличной памятью. Я сижу в квартире восьмидесятитрехлетнего Илия Милкича, не раз встречавшегося и беседовавшего с Лениным в Швейцарии и России, участвовавшего в работах II и III конгрессов Коминтерна, возглавлявшего в Москве в 1919 году Югославский совет рабочих и крестьянских депутатов. Был и действовал такой Совет в ту суровую пору, и в письме своем народному комиссару иностранных дел Совет этот сообщал, что «берет с сегодняшнего дня в свои руки все дела», касающиеся военнопленных Югославии.

Илия Милкич кладет на стол большой фотоальбом, изданный в Москве, подаренный ему сотрудником советского посольства в Белграде. Дрожащими пальцами — старость плюс волнение— перелистывает несколько страниц.

— Вот, вот она, эта фотография... Посмотрите ее, пожалуйста.

Смотрю на фотографию, читаю подпись: «В. И. Ленин произносит речь на заседании III конгресса Коминтерна в Андреевском зале Кремля. 1921 г. Июнь—июль. Москва». На лице моем недоумение: в какой связи показана мне эта фотография?

— Неужели не узнаете? Эх, какой вы ненаблюдательный! Посмотрите на меня внимательней. Я же довольно лопоухий. А теперь вот сюда гляньте... Видите? За столом сидит человек с такими же ушами. Узнаете?..

А на следующее утро я поехал в маленький, тихий городок Панчево к старику Гайе Рониславлевичу, бывшему солдату австро-венгерской армии, бывшему военнопленному, бывшему бойцу красного кавалерийского полка. Это ему, лихому коннику Гайе Рониславлевичу, во главе отряда разведчиков посчастливилось брать в плен печальной памяти барона Унгерна. Старик рассказывал мне обо всем этом подробнейшим образом, а два его внука, дети офицеров Югославской армии, сидели на диване и, слушая деда, лукаво улыбались. Я заинтересовался: «Что это вы, ребята, такие улыбчивые?» «А мы в десятый раз слышим этот рассказ деда. Любит он вспоминать, как барона в плен брал...»

Старик уже попрощался с нами, а потом вдруг задержал нас у двери и робко попросил:

— Молим вас, не откажите... Передайте привет советскому маршалу Рокоссовскому от его солдата. Это он командовал нашим кавалерийским полком. По его заданию я барона Унгерна брал...

В моем блокноте на странице, озаглавленной «Приветы из Югославии», появилась запись: «Панчево. Крестьянин. 76 лет. Гайя Рониславлевич. Бывший красный конник. Дети — полковники. Привет Рокоссовскому».

И еще одна запись в блокноте. Беседа с Михаилом Георгиевичем, отцом Виктора Жунича, моего коллеги — корреспондента журнала «Свет». Та же судьба военнопленного связала солдата Михаила Жунича с нашей страной, с партией большевиков. Семья его только в 1946 году уехала из Москвы, и сейчас мы вспоминаем, как совсем недавно Виктор приезжал к нам с группой туристов и я помогал ему найти на Шаболовке старенький московский дом, в котором жили Жуничи,— дом, оказывается, снесли и построили новый...

— Жизнь идет своим чередом,— философствует мой собеседник.— Старое рушится, новое строится. Но старое крепко сидит в памяти, не забывается. Я бы мог вам часами рассказывать про гражданскую войну в России и про первую пятилетку... Но я хотел бы сказать о другом — об одной затаенной мечте. Очень хочется побывать в Москве, на нашем общем празднике. Пятьдесят лет Октября! Полвека... Бог ты мой, как быстро летит время! А давно ли...

И старик снова отправляется путешествовать в глубь времен России той поры, когда она объявила всему человечеству: «Мы наш, мы новый мир построим...»



Николай ДАМДИНОВ

Новая з

Поэма

I

Тебя землею новой нарекли,
Земля моя, где долгими веками,
Кочуя, предки тучный скот пасли
И возвышались на челе земли
Их юрты — шапки с острыми верхами.
Земля моя с тех пор стоит, стара,
Когда провал бездонный стал Байкалом,
Уперлась в небеса Бархан-гора
И вышел Баргузин к прибрежным скалам.
Я у Земли про возраст не спрошу:
Ей много-много лет уже, я знаю...
Когда на горы здешние гляжу,
Где каждая вершина ледяная,
То думаю: «Седая голова...
Земля моя, ты столько испытала!»
Как бабушка, скупая на слова,
Она о прошлом рассуждает мало.
Но не забыла мудрая Земля,
Как сыновья ее в жестоком споре
Сходились здесь, в который раз деля
Родную степь — себе и ей на горе!
(Да, не одна лишь вешняя вода
По медленным степям текла когда-то...)
Пред матерью своей равны всегда
Эвенки, орочоны и буряты:
Все острия разящие мечей,
Все стрелы, что со свистом здесь летали,
У матери Земли в груди застряли!
Навеки боль ее осталась в ней.
И мамонтов гигантские клыки
Во глубине Земли моей засели.
Грустя о них, могучих, от тоски
Трубит в горах изюбрь порой осенней.
В ключе кипящем сварится яйцо —
Вода золою пахнет горьковато,
Но и сама Земля в конце концов
Водою и огнем была когда-то!
Озера, птиц непуганых места,
И солонцы, и дали луговые —
То все она, Земля родная, та,
Какую «новой» мы зовем впервые!
Ты светишься в душе моей, Земля!
Пар от лугов с кизячным теплым дымом
Мешается вдали...
И счастлив я,
Что здесь рожден — в моем краю любимом.

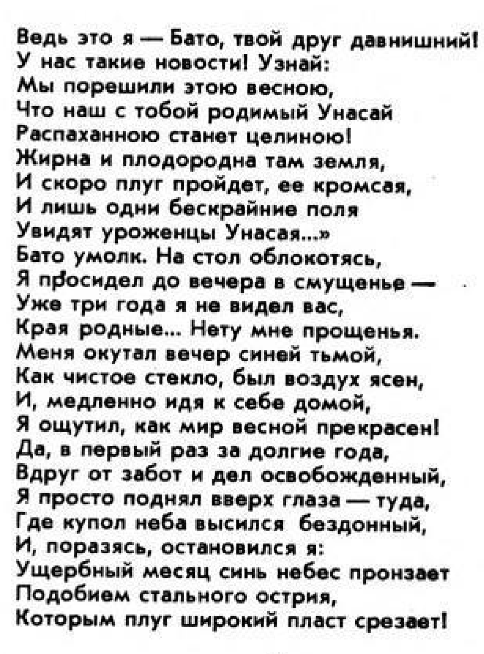


II

Когда в огромном городе живем,
Так далеки мы от тебя, природа,
Что не всегда и думаем о том,
Какое наступило время года.
Сентябрь иль май? Не думаем: дела.
Равно везде асфальт угрюмый блещет.
Едва заметил: липа зацвела!
Оглянешься: последний лист трепещет...
И с численника сыплются листы —
Глядишь, в киоске новый продается.
И время в гуще вечной суеты,
Как бы трамвай грохочущий, несется...
Несутся, чередуясь, свет и тьма.
Глядишь: детишки в школу поступили,
А черные, подгнившие дома
Кварталам новым место уступили.
Кино, дела и книги... Иногда
В субботу все же вырвешься туда,
За город, в царство воздуха лесного,
Где снег скрипит, где светится вода!
Потом кино, дела и книги снова...

* * *

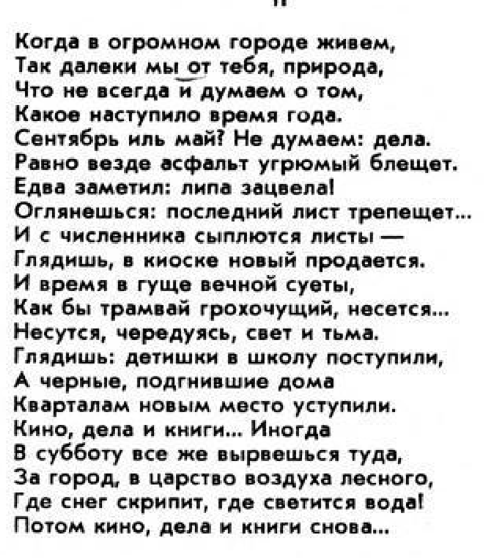
...И вдруг звонит однажды телефон.
Я различаю голос еле слышный:
«Не узнаешь? Ну, что, брат, удивлен,
Ведь это я — Бато, твой друг давнишний!
У нас такие новости! Узнай:
Мы порешили этою весною,
Что наш с тобой родимый Унасай
Распаханною станет целиною!
Жирна и плодородна там земля,
И скоро плуг пройдет, ее кромсая,
И лишь одни бескрайние поля
Увидят уроженцы Унасая...»
Бато умолк. На стол облокотясь,
Я просидел до вечера в смущенье —
Уже три года я не видел вас,
Края родные... Нету мне прощенья.
Меня окутал вечер синей тьмой,
Как чистое стекло, был воздух ясен,
И, медленно идя к себе домой,
Я ощутил, как мир весной прекрасен!
Да, в первый раз за долгие года,
Вдруг от забот и дел освобожденный,
Я просто поднял вверх глаза — туда,
Где купол неба высился бездонный,
И, поразясь, остановился я:
Ущербный месяц синь небес пронзает
Подобием стального острия,
Которым плуг широкий пласт срезает!



III

Летят колеса быстро и легко.
Я мчусь вперед, а мысли все несутся
Назад, назад... И сразу далеко,
Отстав от нас, в прошедшем остаются.
Лет тысячу назад, давным-давно,
Стояло, окруженное лесами,
Селенье невеликое одно —
Его назвали люди Унасаем.
На юг посмотришь — озеро Халма.
На север — Баргузина воды льются.
А Унасай среди лесов дома
Воздвиг на поле, круглом, словно блюдце.
И здесь однажды в теплый летний день,
Оставив руки матери родные,
Там, где на землю летник бросил тень,
Шагнул мальчишка по траве впервые.
Он сквозь крапиву и репей потом,
Босой голыш, отважно пробирался,
Под выпуклым коровьим животом
Он проходил и весело смеялся.
О детства золотые дни, куда,
Вцепившись крепко в гриву, проскакали
Вы на конях невзнузданных тогда?
Вас до сих пор в степи не отыскали!
О утро детства! Сквозь туман сырой
Над зубчатой тайгою солнце встало,
И луч горит над северной горой
И грудь ее окрашивает ало.
И в этот миг, сверкающая вся,
Поет Земля, светило поднимая,—
Так птица, гордо гребень вознеся,
Поет победно, перьями пылая!
О полдень детства! Зной течет с небес.
В округе все живое недвижимо,
Лишь только солнце — рыжий жеребец —
Обходит свой табун неутомимо.
Одни лишь рады солнцу косари,
Они траву в высокий стог метают,
И прямо на глазах у всех — смотри!—
Стог, как ребенок в сказке, вырастает.
Потом, урвав минутку, к нам бегут,
Пьют молоко густое, ледяное.
Рот не спеша ладонью оботрут
И вновь уйдут из тени в пекло зноя.
Веселые, простые земляки,
Я помню все, что вы мне говорили!
Я не боялся поднятой руки:
Вы все лишь только ласку мне дарили...
И серп и молот — символы труда —





Гравюры В. Орловского.

емля



Торжественно подняв над головами,
Свободные от рабства навсегда,
Казалось, вы до неба доставали!
Большая правда земляков жива.
Светлы их души, путь мне освещая.
Я часто повторяю их слова,
Вкус изначальный в каждом ощущая!
Они без дела не́ жили ни дня,
Они срослись с косою и пилою,
Их нетерпенье свято для меня
Теперь, когда припомню я былое:
И холода им были не страшны,
И в зной они не вытирали пота —
Они как знали: с будущей войны
Не все вернутся продолжать работу...
Машину на ухабе занесло,
И, отрешаясь от воспоминанья,
Я понял: много времени прошло,
Передо мной Земля моя родная.

IV

Бывало, мимо озера промчась
На всем скаку и дали озирая
С бугра крутого, узнаешь тотчас
Дома, плетни, сараи Унасая.
Взревев, наш «газик» въехал на бугор.
Я вышел из машины — что же это?
Растерянно отыскивал мой взор
Родимых мест привычные приметы.
Куда ни глянь, гола Земля, черна —
Лишь только-только серый снег растаял,—
Закатом освещенная, она
Мне незнакомой кажется: пустая...
Где дом стоял — земля еще темней:
На черной шубе свежая заплата.
Идут вприпрыжку вороны по ней,
Да видно, что добыча небогата...
Так где же вы? Куда исчезли вы,
Домá моего детства золотые,
Рассвета росы, тень дневной листвы
И синих вечеров дымки густые?
Я здесь кричал на кизяке сухом,
Комочек новой жизни — мокрый, красный.
Здесь в детстве был заправским пастухом
И мать похоронил здесь в день ненастный...
Я воспарял над грешною Землей
И призрачною бредил вышиною...
Тогда-то вдруг и встретилась со мной
Девчонка черноглазая весною.
Я замирал при встречах сам не свой:
В ее глазах бесовских искры пляшут,
И гибок стан под кофточкой простой,
И наплевать мне, что там люди скажут!
Не знаю сам, где отыскал слова,
Чтоб без конца девчонка хохотала,—
Когда ж ее за локоть взял едва,
Доверчиво она ко мне припала...
И тропка наша в сторону пошла!
Через луга по травам непримятым
Нас на высокий берег привела
Полюбоваться гаснущим закатом.
А в мире нежность разлилась рекой,
И по ее волнам, как будто лодка,
Послушная гребцу, моей рукой
Влекомая, идет девчонка кротко.
И я лукавый взгляд ее ловлю:
А вдруг ей подразнить меня занятно?
Но я теперь уже не отступлю,
Нам в этот вечер нет пути обратно!
Я долгий теплый вечер помню весь.
И ночь и утро... Как давно все было!
Но неужели это было здесь —
На пустыре, где я молчу уныло?
Но где та жизнь, что с самого утра
Кипела здесь, как муравейник летом?
Быть может, скажешь ты Бархан-гора?
Но столько ты уж видела, мудра,—
Не знаю: удостоишь ли ответом....
Река течет или текут года —
Ни радости, ни грусти человечьей
Ты не узнаешь, далека, тверда,
Уверясь в том, что лишь одна ты
вечна.
В ладонях мну земли холодной ком,
Ловлю ее дыхание родное,
И странно мне: быть может, было сном
Все, что когда-то было здесь со мною...

V

Все было сном?..
Но, если это сон,
Откуда взяться мог товарищ старый?
Из-под земли как будто вырос он —
Замасленный, плечистый и усталый.
И больше нет сомнений и тревог!
Бато мне руку жмет
с открытым взглядом
И, кулаком слегка ударив в бок,
Смеясь, мне говорит:
«А я тут рядом...»
Лишь зубы ослепительно блестят —
Лицо от черной пыли потемнело.
«Да, верно, друг.— Бато отводит взгляд.—
Мы родились здесь. Вот какое дело...»—
Поежившись, продолжил он: «Узнай,
Что прошлым летом на другое место
Я перевез отсюда Унасай,
Сломал дома, что дороги нам с детства.
Тоскую я, хоть вовсе не поэт.
Друг, и у нас, у грешных, ведь душа есть!
И завтра я на тракторе чуть свет...»
Он замолчал, закончить не решаясь.
Мы обнялись, стирая слезы с глаз,
Как будто оба вдруг осиротели.
Мы видели: закат вдали погас,
А друг на друга больше не смотрели...

* * *

И вот сидим мы заполночь вдвоем
В единственном домишке Унасая.
Все рассказав друг другу, молча пьем
За Унасай. И тлеет, угасая,
Наш земляной очаг. Подбросив дров,
Смеется друг Бато: «Живем на славу!
Ты видишь сам — походный быт суров,
Но эта жизнь все больше мне по нраву!..»
Да, вижу, друг. За много трудных дней
Ты не забыл былые увлеченья —
Как прежде, ты заядлый книгочей,
Хоть сложно время выкроить для чтенья.
Здесь столько книг! Лежат во всех углах.
Открытый «Анти-Дюринг»? Вот так штука!
Немой вопрос прочтя в моих глазах,
Бато смеется: «Думаешь, наука
Нам не под силу? Нет, в свободный час
Мы тут и философствуем и спорим.
Ребята головастые у нас:
Есть математик свой и свой историк!
И «Анти-Дюринг»— это для меня...
Не к дикарям же ты приехал, ясно?..»
И в очаге внезапно головня
Рассыпалась и, пеплом став, погасла.
«Не так ли гаснут, падая во тьму,
Сгоревшие планеты во Вселенной?»
И, удивясь сравненью своему,
Уставший за день, я уснул мгновенно.

VI

А первый луч был тонок, как коса,
Что свищет по густой траве, сверкая.
Поднялось солнце, не задев леса,
Повисло, хвост павлиний распуская.
Бато уже обходит трактор свой,
Садясь в кабину, пробует сцепленья.
А тот, как конь горячий, боевой,
Встав на дыбы, дрожит от нетерпенья!
Сейчас начнется пахота. Гудя,
Пойдет он, плуг тяжелый увлекая,
Из края в край, как море, бороздя
Нетронутые земли Унасая.
И вот Бато рвет ручку на себя —
Мне не понять: он весел иль печален...
Вперед подался трактор и, сопя,
Свой первый шаг на поле отпечатал.
Все убыстряя ход, пошел вперед,
Ворочая пласты Земли былинной,
Все прямо на восток, все на восход
Упрямо, трудно след простерся длинный.
Пошел вперед, не думая о том,
Что зачеркнул стальным пером отныне,
Все то, что здесь написано трудом
И жизнями людскими, на равнине!
И тут земля качнулась подо мной —
Цветы с головок ярких пыль стряхнули,
Заржали скакуны в степи ночной,
И жаворонки детства промелькнули!
Они запели звонко в вышине —
И небо накренилось надо мною!..
Так на мгновенье показалось мне,
И снова все сменилось тишиною.
Ложатся ровно черные пласты,
Плуг отливает сталью голубою,
И это означает, что мосты
Мой друг Бато сжигает за собою!
И значит, что страницы книги той,
Какую десять тысяч лет писали,
Навеки перевернуты рукой
Сегодняшнего сына Унасая!
Лежат валы распаханной земли...
О время, это волны не твои ли,
Что города бесследно погребли
И крепости в пучине поглотили?
О города, в далекие года
С лица земли ушедшие навечно,
Куда же вы исчезли без следа,
Какой волною смыты быстротечной?
О Унасай мой, город золотой,
Не волны ль Халма-озера сомкнулись,
Все поглощая, над равниной той,
Где долго-долго улицы тянулись?
И я увидел, что Земля моя,
Как будто бы опять на свет рождалась,
И, юная, дыханье затая,
Светло и чисто солнцу улыбалась!
Стареем мы, уходим навсегда,
Оставив пыль, прилипшую к подошвам,
И лишь Земля все время молода,
Юна — сегодня, в будущем и в прошлом!
Бушует в жилах молодая кровь,
Выплескиваясь вдруг пшеницей ярой!
Моя Земля жизнь начинает вновь!
Но кто ее считал Землею старой?
Быть может, для меня она стара,
Но не для тех, кто после нас родится.
Да встретит их зеленый блеск ковра,
Да вскормит их шуршащая пшеница!
И пусть она, сверкающая вся,
В тяжелых росах, солнце поднимая,
Поет, как птица, гребень вознеся,
Поет победно, перьями пылая!

Перевел с бурятского
О. ДМИТРИЕВ.

ЗАБЫТЫЙ МАТЕРИК

Юрий АНДРЕЕВ

Доводилось ли вам, дорогой читатель, видеть многосерийный телевизионный фильм «Адъютант генерала Май-Маевского»? (У него есть и другое название: «Капитан Макаров».) Я вижу, вы напряженно вспоминаете: «Капитан Макаров»?.. Вот «Капитана Тенкеша», как же, видел, хотя, конечно, не все 12 серий; во время зимних каникул школьники сходили с ума, переживая на протяжении чуть ли не двух недель удивительные приключения венгерского борца за свободу. Но «Адъютант генерала Май-Маевского» что-то не припоминается...

И одноименного кинофильма не смотрели? Я напомню: там показано, как революционно настроенный прапорщик Макаров (крестьянский сын, маляр, продавец газет в прошлом) в годы гражданской войны совершил невероятную карьеру — стал личным адъютантом командующего белыми армиями. Удивительно много сделал «личный адъютант», чтобы столкнуть лбами белых генералов, смешать их карты, разложить контрреволюционные войска. Разоблачение. Арест. Дерзкий побег. И вот Макаров—уже командир партизанского полка и помощник командующего всей Повстанческой армией, непрерывно разрушающей тылы Врангеля.

Итак, вы не видели ни многосерийного телефильма, ни кинофильма об этом революционере, воине и разведчике, поставленных по воспоминаниям самого П. Макарова. Жаль...

Но, может быть, вам довелось посмотреть в кино суровую и поэтическую, способную взволновать любую душу легенду-быль «Викентий сын Викентия»? Этот фильм повествует, как нелегко и своеобразно утверждалась Советская власть в далеких полярных поселках. Может ли быть, чтобы вам не запомнилась телевизионная постановка «Лесной зверь» (по роману Д. Бузько)? Какую сложную борьбу ведет ее главный герой, чекист, проникнувший под видом крупного националиста в банду «самостийников».

Вы не видели и эту постановку? Но уж тогда наверняка вы слышали по радио героический спектакль «В огненном кольце» (его основу составили записки партизана времен гражданской войны Ивана Овчаренко). Не правда ли, до сих пор в ваших ушах звучит эта необыкновенная эпопея, рассказ о борьбе, подвигах и страшных страданиях тех, кто, сражаясь с белыми, вынужден был уйти под землю, в таинственные Аджимушкайские каменоломни?

Я не ошибусь, если скажу, что на ваших детей сильное впечатление произвел и двухсерийный фильм «Карьера подпольщика» (по романам С. Васильченко «Карьера подпольщика» и «После декабря»). Это — идейное, мужественное кинопроизведение, фабула его столь увлекательна, что держит вас в непрерывном напряжении.

А романтический, приключенческий фильм «Восстание на «Св. Анне» (по роману А. Лебеденко)? Все перипетии борьбы команды корабля «Св. Анна» (капитан которого хочет угнать его в Южную Америку) за возвращение на родину сопровождаются прекрасно снятыми сценами. Особенно ярко показан бунт против врангелевских офицеров на пороге отчего дома — в Черном море.

А вот еще...

— Хватит! — слышу я голоса читателей. Да, я понимаю, что рассказ об этих постановках, которые столь удачно сочетают идейность и художественность, содержательность и занимательность, революционный пафос и психологическую глубину, способен раздразнить воображение.

Но их не видел и не слышал никто.

И никто не видел и не слышал еще многих десятков и сотен других превосходных радио-, кино-, телепроизведений о революции и гражданской войне, хотя они, без всякого сомнения, имеют право стать достоянием миллионов зрителей и слушателей.

Более того, их никто и никогда не увидит и не услышит, если не будут предприняты определенные усилия. Об этом и пойдет дальше речь.

В последнее время горячо дискутируется вопрос об экранизации классики советской литературы — этой щедрой сокровищницы, из которой смежные искусства, в частности киноискусство, должны черпать темы, образы, идеи. Ведь до сих пор еще не экранизированы ни романы «Разгром» и «Последний из Удэге» А. Фадеева, ни «Конармия» И. Бабеля, ни «Падение Даира» А. Малышкина и многие другие выдающиеся произведения нашей литературы, которые могли бы неизмеримо поднять уровень советского киноискусства. Экранизация советской классики — вопрос не только идейно-художественного порядка; он имеет важнейшее общественно-воспитательное значение, особенно для молодежи. Сейчас, например, странно думать, что «Сорок первый» — это только рассказ Б. Лавренева. Нет, в восприятии миллионов людей это и выдающийся кинофильм, поставленный Г. Чухраем. Не таким ли радостным событием стал и кинофильм «По ту сторону»? Дело даже не только в том, что из незаслуженного, обидного забвения был извлечен роман В. Кина: роман переиздан, но в современном народном сознании комсомольцы В. Кина живут, сойдя к нам прежде всего с экрана.

Но, кроме классики, существует целый материк военно-патриотических, героико-революционных романов, повестей, рассказов, огромный пласт книг, преданных забвению. Заслуженно или незаслуженно? Отвечая на этот вопрос, мы вступаем в область, где возможны неожиданные ответы.

Время — судья беспощадный. Сотни авторов выступили в 20—30-е годы с произведениями о революции, гражданской войне, но сколько книг, созданных тогда, читается сейчас? Ускользающе малый процент от числа тех, что появились несколько десятилетий тому назад. На то есть целый ряд причин, в том числе и таких, которые прямого отношения к литературе не имеют. Главной является та, что многие творения часто не выдерживают проверки временем.

Представим себе книгу, обладающую глубокой идеей, ярко выписанными характерами, богатым сюжетом и многими другими достоинствами, но написанную то ли недостаточно выразительным языком, то ли в утонченной психологической манере, которая не соответствует эпическому замыслу повествования, то ли с заметными следами какого-либо быстро преходящего веяния — короче говоря, с некоторым нарушением сложной внутренней гармонии замысла и его реализации. В качестве литературного произведения некоторые книги устаревают с ходом времени и отпадают в мощный пласт историко-литературных отложений; избежать этого удается лишь крайне малому числу художественных произведений — мы зовем их классическими, вечными. Такое положение совершенно правомочно — так было, так будет.

И, однако, не совсем так!

Этот массивный слой книг навеки оставался бы достоянием преимущественно лишь историков литературы и чудаков-библиофилов, если бы появление новых видов искусства не превращало его в огромный потенциальный источник необычайно сильного идейно-эстетического воздействия. Ведь понятие «забытая книга» в эпоху кино и телевидения теряет свой элементарный однозначный смысл, дело оказывается гораздо более сложным. Очень большое число книг заслуживает второй активной жизни — в эфире или на экране.

Но как же быть с тем некоторым художественным несовершенством, которое послужило причиной забвения многих книг? Может быть, это несовершенство и является препятствием для их экранизации? Очевидно, дело в том, что в процессе тонкой и бережной перестройки произведений литературных в произведения других, хоть и родственных, но живущих по своим законам видов искусств появляются все возможности для того, чтобы в чем-то несовершенный литературный первоисточник трансформировался в совершенное, даже выдающееся явление искусства — с помощью режиссеров, операторов и актеров.

А пока предпримем с вами хотя бы небольшое путешествие на материк забытых книг.

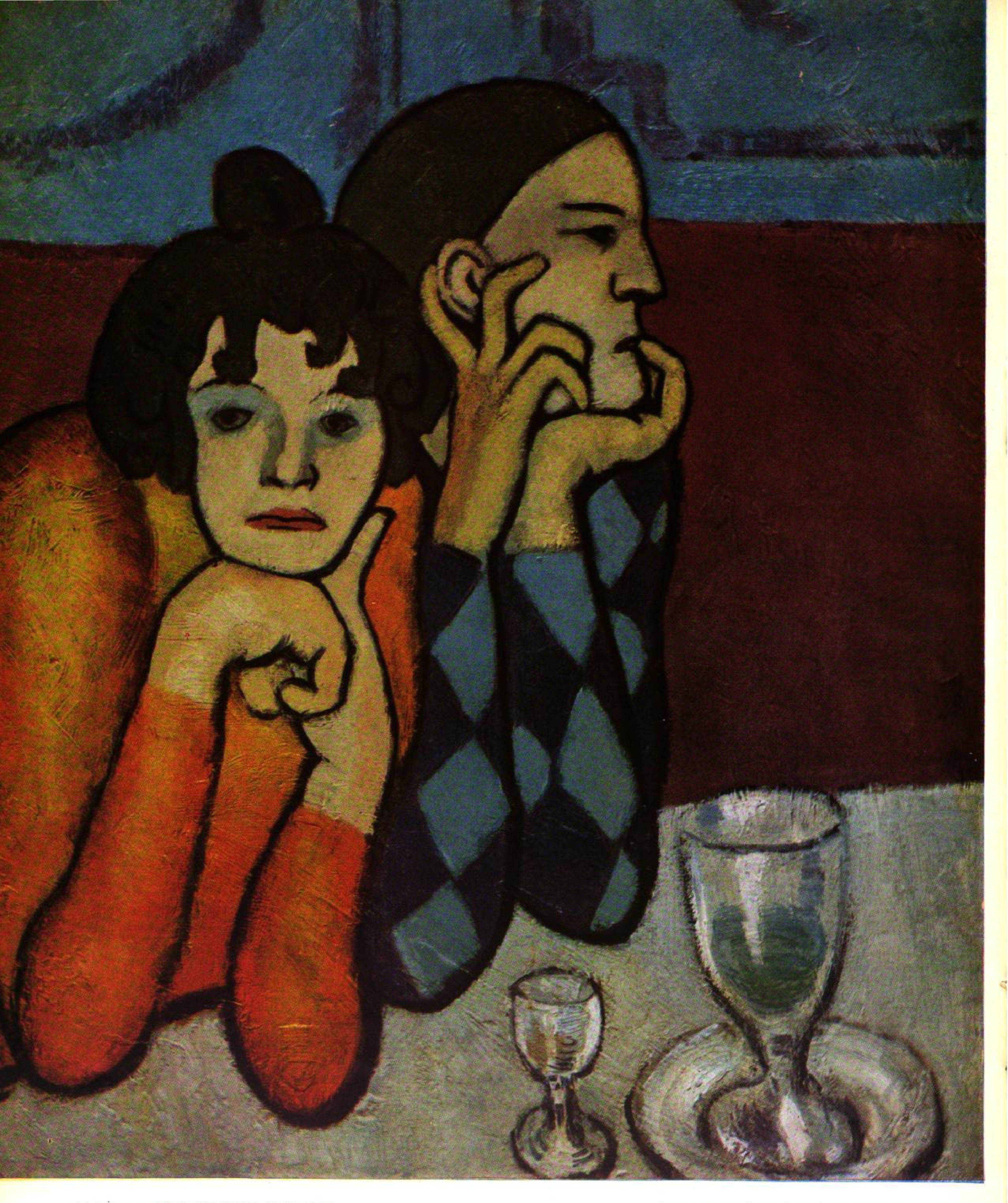
Едва только причалив к Забытому материку, мы оказываемся перед лицом воистину неисчислимого обилия увлекательных произведений для детей чуть ли не всех возрастов. Эти книги написаны с полным пониманием активного, своеобразного характера детского восприятия, и главными действующими лицами в них являются дети и подростки. Наблюдая это изобилие, историк литературы отчетливо осознает, что, образно говоря, горный хребет нашей детской литературы — повести А. Гайдара поднялись не на унылой равнине, что они составляют лишь одну из гряд обширной горной страны, которая состоит из множества других причудливо разбегающихся хребтов, вершин и вершинок. (И, кстати говоря, первые военно-приключенческие повести самого А. Гайдара, «В дни поражений и побед» и «Лбовщина», тоже числятся по ведомству Забытого материка, но, по-моему, создатели остросюжетных романтических фильмов напрасно обошли их своим вниманием.)

Возвращаясь к высокогорной стране детской литературы, напомню, что несколько томов повестей и рассказов о жизни, борьбе и приключениях детей в годы революции написал С. Григорьев, и многие из его произведений — прекрасная основа для кинофильма или радиосценария. В этой связи вспоминается показанная в мае по Центральному телевидению миленькая французская вещица «Лошадь без головы». Наши дети увидели, как французские детишки искали на пустырях украденную у них игрушку — безголовую лошадку — и нашли 100 миллионов франков, спрятанных бандитами, ограбившими почтовый поезд. И думалось, насколько интересней, верней и полезней было бы миллионам школьников посмотреть, например, инсценировка



П. Пикассо. КОРОЛЕВА ИЗАБО. 1909.

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.



П. Пикассо. СТРАНСТВУЮЩИЕ ГИМНАСТЫ.

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

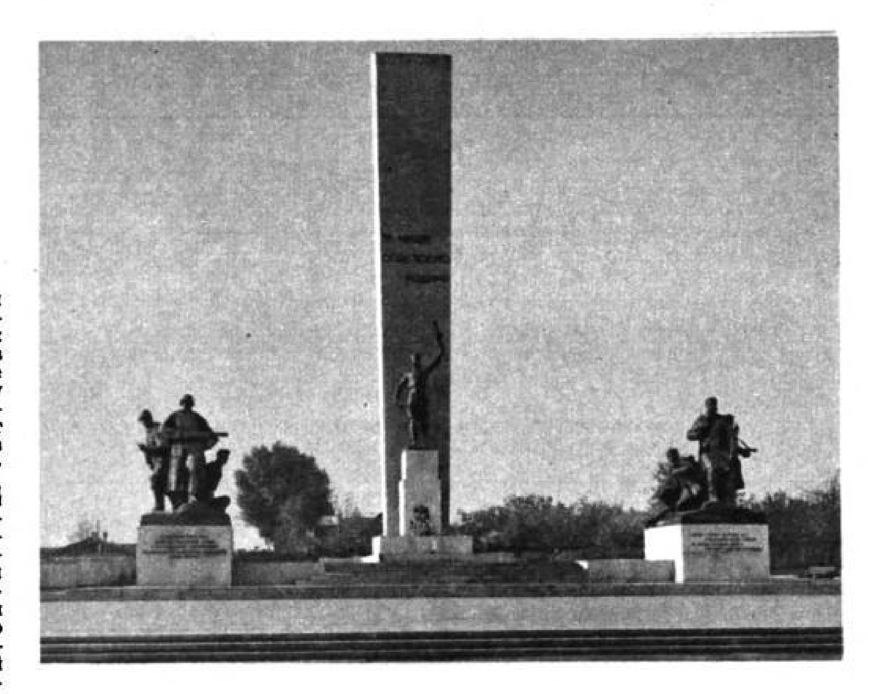
ку по рассказу С. Григорьева «Паровоз «ЭТ-5324»: те же по возрасту мальчишки и девочки, что и в «Лошади без головы», дети железнодорожников, сумели починить старый паровоз и пустить его навстречу бронепоезду белых, когда пришла решающая минута. Ей-богу же, сюжет не менее увлекателен, чем поиски похищенной безголовой лошадки на трех колесах, но жаркий революционный классовый пафос этого рассказа — насколько он ценней для нас, чем постная, добродетельно-буржуазная мораль «Лошади без головы», вложенная в уста добряка полицейского!

А вот произведения для подростков и юношества, комсомольская литература. С теплым чувством листаем мы одну книгу за другой, ясно осознавая, чувствуя, с какой благородной силой и красотой могут они вновь загореться в наши дни, став вровень с кинофильмом «По ту сторону». Вот, например, рассказ Н. Богданова «Звездный пробег». Маленький городок среди снегов и лесов обложен бандами. Что делается в стране, можно ли ждать помощи — неизвестно. И комсомолец Павел, с виду робкий увалень, решается на отчаянное предприятие: по глухим лесам, по снежной целине, минуя засады и отбивая нападение, он пробегает на лыжах десятки километров и приводит за собой красноармейский отряд. О чем этот рассказ — о необычайном ночном «звездном пробеге»? Да, конечно, но в первую очередь о том, как преобразуется и крепнет душа человека в борьбе за жизнь своих товарищей, за победу революции. А повесть А. Костерина «В потоке дней», о чем она? Только ли о том, как бедовый парень из рабочей слободы Митька Мокрецов стал партизанским посыльным по особо важным, секретным делам, как сумел он привезти партизанам, пробившись через тысячу смертельных опасностей, крупную сумму денег, о том, какие удивительные приключения довелось испытать ему на Каспийском море и в Персии? Да, и об этом, но в первую очередь о том, «как закалялась сталь»! Ведь и Павел из «Звездного пробега», и Митька из повести А. Костерина, и многие другие боевые комсомольцы — все это сверстники и соратники Павки Корчагина, прошедшие каждый своей дорогой тот же славный путь, который привел к всеобщей победе Советской власти.

Своеобразной особенностью большинства книг о комсомольцах, написанных в 20—30-е годы, является то, что их авторы, подобно Николаю Островскому, прежде чем рассказывать о новой жизни, с винтовкой в руках утверждали ее. Это, разумеется, придает особый, неповторимый колорит их книгам.

Мы находимся в преддверии 50-летия Октября, 50-летия Советской Армии, 50-летия ВЛКСМ, 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, венцом жизни которого явилось победоносное осуществление социалистической революции. Все эти великие даты требуют энергичного, действенного и умного усиления роли советского искусства в жизни нашего народа. К тому есть много возможностей. Об одной из них, вполне реальной, и идет речь в настоящей статье.

ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ СВЯЩЕННА



На брянской площади Партизан был торжественно открыт Памятник вечной славы павшим в боях за освобождение Брянска. Создали эту скульптурную композицию член-корреспондент Академии художеств СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии скульптор Андрей Петрович Файдыш-Крандиевский и архитекторы Михаил Осипович Варщ и Александр Николаевич Колчин. Редакция обратилась к Андрею Петровичу Файдыш-Крандиевскому с просьбой рассказать об этой последней работе.

...Все живо в памяти. Каждый год, каждый день войны и особый эмоциональный строй людей того времени, мужественно боровшихся за освобождение своей Родины.

Перед тем как приступить к проекту памятника — а было это в 1958 году,— я несколько раз ездил на места, где когда-то стояли партизанские отряды, смотрел, где шли на Брянщине жестокие бои...

Когда утверждали проект памятника, в горкоме партии собрались партизаны. Конечно, за прошедшие годы многие постарели, изменились. Штатские костюмы, мирный труд сделали облик бывших партизан другим. Но за всем этим я увидел то, что объединяло их в партизанской борьбе. Я почувствовал чистоту этих самоотверженных людей, мужество и твердость их душ.

Мы, пережившие войну, будем помнить ее всегда. Но приходят новые поколения. И рассказать им о людях, чье беспредельное служение Родине было наполнено высоким подвигом, создать в скульптурных образах облик наших соотечественников военного времени — вот какую задачу мы ставили перед собой. Старались воплотить дух ушедшего времени, как бы посылая эмоциональный заряд из прошлого через настоящее в будущее.

Может быть, поэтому родилась масштабность и форма композиции. В центре пилон — высота 22 метра — из монолитного железобетона, пока еще редко встречающегося в практике скульпторов. Центральная фигура памятника — коммунист, вожак, агитатор, вдохновляющий народ на подвиг и борьбу с врагом. Мы стремились не к тому, чтобы нарисовать портрет, а к тому, чтобы передать тип партийного работника военных лет. По сторонам две группы — воины и партизаны. Главное было передать их героическое настроение, их спокойствие и убежденность.

Мы стремились к композиции цельной, с несколько обобщенными формами. Памятник этот должен смотреться со всех сторон, к тому же с дальнего расстояния. Поэтому не хотелось мельчить детали. Художественное упрощение формы, монументальность казались нам наиболее выразительными средствами для воплощения в скульптуре великого подвига нашего народа в годы Отечественной войны.



ИЗМЕРИТЕЛЬ РАДОСТИ – ПЕСНЯ...

Композитору Анатолию Григорьевичу Новикову исполняется семьдесят лет.

Пятьдесят лет отдано музыке, из них сорок — песне.

Много песен написано за эти годы: «Гимн демократической молодежи мира» и «Марш трудовых резервов», песни о партии, о Родине, «Россия», «Дороги», «Краснотал»; шуточные «Вася-Василек» и «Самовары-самопалы»...

Много песен и ни одной однодневной. Все мелодии звучат по многу-многу лет, не забываются, не стареют. И сейчас они, так же как и их автор, юбиляры.

В юбилейные дни мне довелось побывать у композитора. На вопрос о его последних работах и творческих планах на будущее Анатолий Григорьевич ответил:

— Недавно закончил большую работу, которую посвящаю 50-летию Октябрьской революции. Это музыкальная героическая комедия «Особое задание». Комедию уже успели поставить в омском, рижском, удмуртском театрах, в ноябре состоится премьера в Ростове... Работал я над своей музыкальной пьесой горячо, с увлечением; она насыщена событиями, много плясок, ну, и лирика, конечно, есть...



«Особое задание» — вторая моя оперетта. Первой была «Королева красоты»; сейчас она идет более чем в двадцати театрах. Хочется сочинить еще одну оперетту; ищу настоящий, хороший сюжет, чтоб не пустышка какая-нибудь была!.. С удовольствием продолжаю работать над песней. На днях закончил работу над «Джоном Ридом» и «Первой солдатской весной», а песней «Вспоминает Фучик о России» начинаю цикл о молодых. Очень люблю этот жанр — он очень разнообразен. Слушая песню, можно и посмеяться и погрустить... К юбилею революции задумал небольшую кантату для хора. Так что впереди много дела!

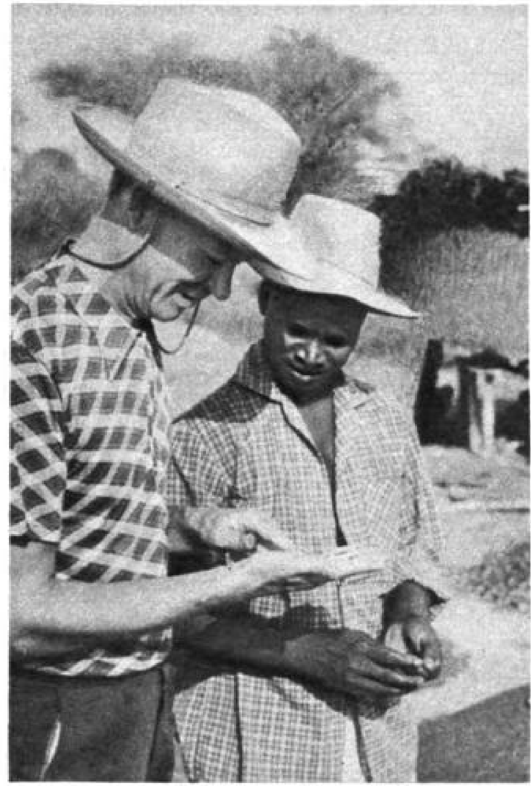
Я спросила у Анатолия Григорьевича, что для него самого было особенно радостным в дни юбилея,— ведь вся его работа заключается в том, чтобы доставлять радость другим.

Композитор улыбнулся. Помолчал немного.

— Знаете, сразу даже и не ответишь!.. Я много езжу. Встречи, концерты, выступления... Недавно был у пионеров в интернате. Цветы преподнесли.— Анатолий Григорьевич взглянул на большой букет красной гвоздики.— Устроили ребята концерт моих песен. Здорово пели! Видно, что им нравилось... Вот и у меня измеритель радости — песня. Если чувствую, что слушают песню, любят ее, ощущаю отдачу, значит, можно работать дальше...

Н. АЛЕКСЕЕВА

САМАЯ ЗАПАДНАЯ АФРИКА



Евгений Ильич Зайцев и Леон Сек.

Александр СЕРБИН,
специальный корреспондент «Огонька»

Фото автора.

В пробирке — алмаз...

II ...ГДЕ ГУЛЯЕТ ГИППОПО

— Спрашиваешь, как туда добраться?— говорили мне друзья в Дакаре, к которым я обратился за советом.— Никакого регулярного сообщения с теми местами нет. До самого близкого оттуда городка Кедугу можно долететь на самолете. Но дальше? Нужен «ленд-ровер». В любом случае поездки через саванну не миновать. А сходи-ка ты в управление горного дела и геологии. Разыщи там директора управления Луи Александрена. И директора проекта геологических изысканий Жана Агасси. Вдруг тебе повезет и найдется попутная машина!

И я пошел.

Сенегалец Луи Александрен и швейцарец Жан Агасси оказались людьми, наделенными двумя великолепными качествами. Они были жизнерадостны и деловиты. Поняв мое журналистское томление, они решили вопрос о поездке буквально за несколько минут. Попутная машина нашлась — к Зайцеву нужно было отвезти насосы.

...Замечено такое: еще до того, как в саванне Восточного Сенегала начинается период дождей, до того, как прохладные потоки с небес напоят прокаленную солнцем, серую, в трещинах землю, деревья в саванне уже просыпаются от жаркого сна. На кривых, черных от прошлогодних пáлов ветвях набухают почки, и первые листики отважно подставляют свою нежную зелень под неистовство солнечных лучей.

Связано это, как объясняют, с повышением уровня подпочвенных вод, которое приходится как раз на конец сухого сезона. В свою очередь, повышение уровня грунтовых вод было одной из причин, почему Зайцеву понадобились насосы.

Наш «ленд-ровер» шел сквозь такую начинавшую зеленеть саванну, по дороге, которая, собственно говоря, была не дорогой, а не очень заметной, ненаезженной колеей. Позади уже остались и отличное, но лишенное даже пятнышка тени шоссе, которое идет от Дакара к Каолаку, и грунтовая дорога, ведущая от Каолака через Тамбакунду в заросли заповедника Ниоколо-Коба, где автомобильный гудок прогоняет с пути стаи храбрых лесных курочек и одиноких трусливых гиен. Теперь машина петляла по колее в высокой сухой траве, форсируя русла пересохших речушек и объезжая низкорослые искривленные деревья, которые хлестали зазеленевшими ветками по крыше и металлическим бокам «ленд-ровера». На них был изображен земной шар, окруженный оливковыми ветвями,— эмблема Организации Объединенных Наций.

Путь к Зайцеву был неближний и нелегкий. Однако нужно наконец познакомить читателя с Зайцевым. На самом краю Восточного Сенегала, на реке Фалеме, которая разделяет Сенегал и Республику Мали, идут геологические изыскания на алмазы и золото, проводимые в рамках Специального фонда ООН. Советский специалист Евгений Ильич Зайцев — главный геолог этого проекта. В тех местах он уже второй год. В прошлом году он было вернулся домой в Кривой Рог, но сенегальцы обратились с просьбой, чтобы Зайцев приехал снова для продолжения дела. Просьба была неслучайной. Проект существует давно, но результаты стали появляться только с приходом советского специалиста.

...Через открытое окно в кабину залетели мухи. Одна села мне на колено. Я прихлопнул ее ладонью. Чуть больше размером обыкновенной комнатной мухи, с сереньким брюшком и длинноватыми крыльями, она выглядела безобидно. Я протянул ладонь с мухой к шоферу-сенегальцу и вопросительно посмотрел на него. Он кивнул головой и сказал вполне равнодушно:

— Цеце.

Так вот она какая, эта муха, о которой рассказывают страшные истории, которую считают опаснее льва. Там, где обитает муха цеце, бесполезно разводить крупный рогатый скот. Он погибнет от болезни, которой его заразит вредная муха. Опасна она и для человека. Но ее опасность здесь часто преувеличивают. Далеко не каждая муха переносит возбудителей сонной болезни. И к тому же сама болезнь сейчас поддается лечению. Но я был горд, что мне удалось убить существо опаснее льва, и припрятал свою добычу в спичечный коробок.

Машина продолжала пробираться через саванну. «Теперь недалеко»,— сказал шофер. Сквозь редкие деревья показались круглые островерхие крыши хижин; навстречу машине кинулись, подпрыгивая и размахивая руками, босоногие, голопузые мальчишки. Машина миновала деревню, спустилась почти к самой реке, и я увидел две палатки и еще одно высокое сооружение — дом не дом, хижину не хижину,— стены которого были сплетены из бамбука, а крыша сделана из травы, которую здесь обычно используют для крыш. Из него вышел человек в шортах, без рубахи, стриженный наголо, приветливо поднял руку и улыбнулся. Это был Зайцев.

На берегу Фалеме жили двое советских людей — Зайцев и его переводчик Володя Дмитриев. Палатки служили им спальнями и рабочими кабинетами, а бамбуковое сооружение было одновременно столовой, гостиной, складом (главной ценностью в нем были бутылки с водой и пивом) и залом заседаний. Здесь же стояли два холодильника, работавшие на керосине, а на деревянном столбе в центре, поддерживавшем крышу, висел термометр.

— Недавно привезли,— сказал Евгений Ильич.— А то все жили и не знали, что тут за температура. Теперь — пожалуйста.

Я посмотрел на термометр. Под крышей, защищавшей от солнца, в продуваемом насквозь помещении было сорок два градуса выше нуля.

— Сегодня-то еще не так жарко,— продолжал Зайцев.— Бывает потеплее. Да нам не привыкать...

И вытер платком пот с лица и головы.

Зайцеву было за сорок. И ему действительно не привыкать к смене климатов, образов жизни, впечатлений. Работал он на Урале, на Колыме, последние годы — на Украине, в Криворожском бассейне. А родом был из Ростова. Здесь жил его отец, боец Красной Армии во время гражданской войны и председатель колхоза — двадцатипятитысячник в годы мирного строительства. Евгений Ильич нашел свою профессию не сразу. Сначала он окончил сельскохозяйственный техникум и даже принимал участие в выведении нового сорта пшеницы. А профессия геолога, которая провела его от восточных окраин нашей страны до Африки, пришла позже. Пришла и украсила его жизнь поисками и открытиями, что, наверное, и должно составлять главное в жизни человека.

— Хорошо, что привезли насосы,— сказал Зайцев.— В шурфах много воды. А скоро и дожди пойдут. Надо успеть кончить дела до того, как они пойдут по-настоящему.

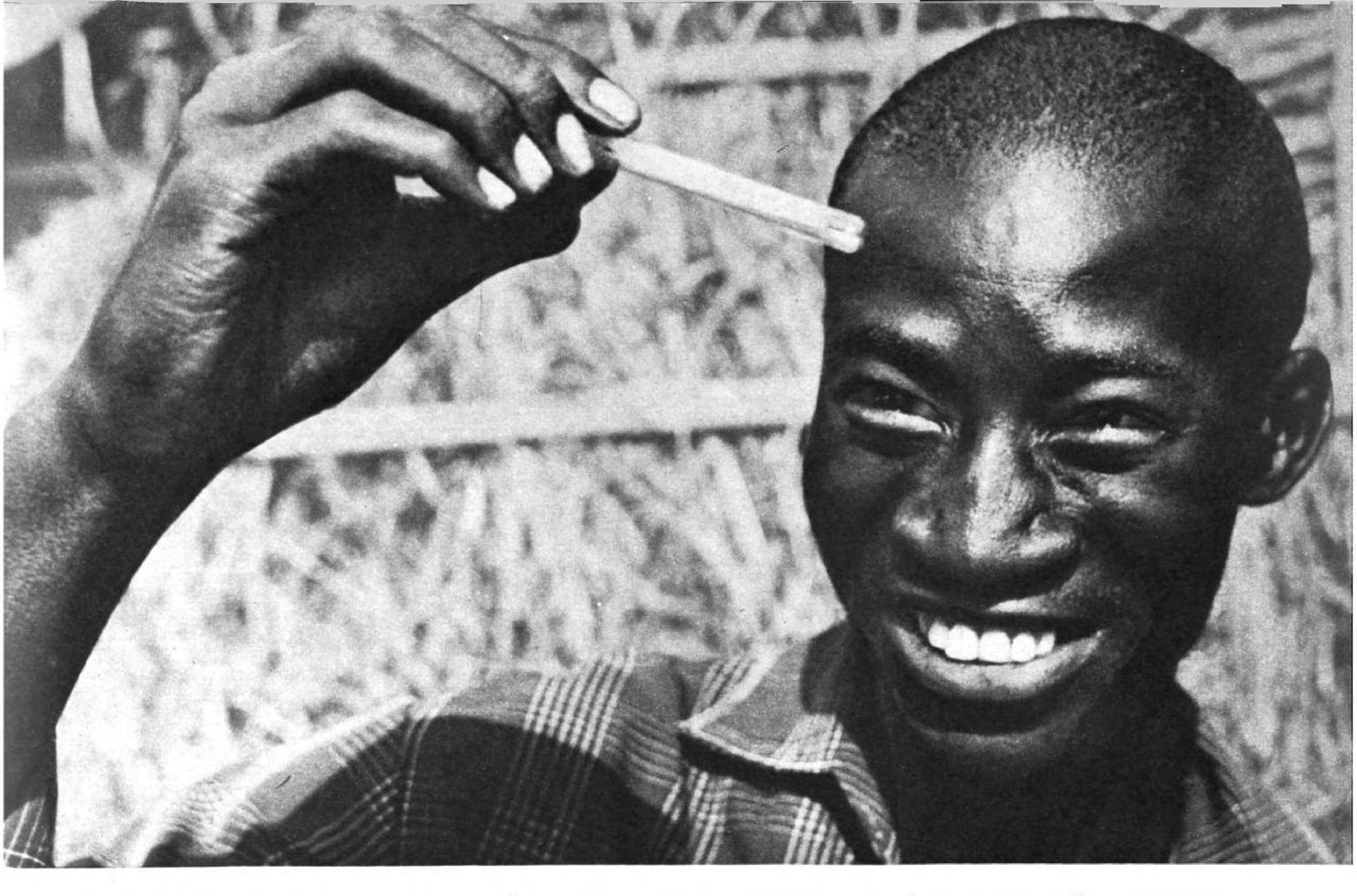
— А результаты работы, Евгений Ильич? — спросил я.— Какие они?

— Результаты завтра. А сейчас, если хотите хорошо поужинать, отправляйтесь-ка с Дмитриевым на охоту.

Для экспедиции раз в неделю привозят из Кедугу хлеб (к концу недели из хлеба получаются сухари). Для воды существует фильтровальная установка. А вот за мясом надо ходить в саванну.

Мы с Володей взяли ружья и отправились на промысел. Володя двигался по саванне быстро и бесшумно; он здесь тоже второй год, и на нем лежат обязанности заготовителя. Я старался подражать ему, но получалось это у меня значительно хуже. А дичи кругом было много. С шумом вырывались из травы куропатки и низко летели над землей, стараясь побыстрее плюхнуться за ближайший куст. Взмывали ввысь и усаживались на верхушках деревьев жемчужно-черные цесарки, не подозревая, что их легко можно достать там дробью. Убегали в разные стороны лесные курочки. Грациозно, в два прыжка, промчалась мимо нас антилопа. Встретили кабана. Он долго стоял и смотрел на нас, размышляя о чем-то. Мы тоже стояли и размышляли: бить или не бить? Куда столько мяса? Кабан кончил думать скорее, повернулся и ушел прочь.

См. «Огонек» № 41.



Вечером был суп из цесарок и жареные куропатки. В ужине была и моя, правда, небольшая, доля. Потом мы пыхтели сигаретами и слушали музыку по транзистору. На музыку иногда приходит сосед Зайцева — гиппопотам, который живет в речной яме, метрах в трехстах от палаток. Раньше, рассказывал Зайцев, бегемотов было несколько. Но другие ушли, когда в сухой сезон река стала мелеть. А этот меломан остался. В тот вечер он не пожаловал в гости: наверное, были домашние дела. Потом мне удалось увидеть его ноздри и глаза на середине реки. Он шумно вздохнул и ушел под воду. Я вспомнил про муху цеце и достал спичечную коробку.

— А такого зверя видели?

— Цеце,— равнодушно сказал Евгений Ильич.— Этого здесь хватает.

Утром вместе с Зайцевым, Дмитриевым и сенегальцем Леоном Секом, изыскателем, мы отправились смотреть на разведывательные работы. На них занято более двухсот сенегальцев.

В саванне были пробиты шурфы. Около одного, в котором была вода, возился с насосом механик Риверо, испанец. Из другого ведром, привязанным к веревке, двое рабочих доставали породу — гальку. Нагружал ведро третий, стоя на дне шурфа. Потом эту породу доставляли на промывочные установки, где другие люди разбирали ее по фракциям — по величине камушков. Разобранная порода — концентрат — была разложена на площадках ровными, аккуратными кучками. В любой из них теоретически мог прятаться алмаз.

Видел я и изыскательские работы по золоту. Шурфы, песок из них, рабочих, которые промывали его в тазах и складывали обогащенную породу в такие же ровные кучки.

День за днем продолжается этот труд. День за днем идут упорные поиски маленьких камушков и золотых крупинок, чтобы стало ясным, где прячет земля свои главные богатства.

— Теперь поехали смотреть результаты,— сказал Зайцев.

Мы вернулись к палаткам. Недалеко от них находилась лаборатория, где хозяином был минералог Мамаду Фаль. Он достал несколько пробирок и протянул их мне. На дне каждой тускло светились желтые крупицы золота. Потом Фаль исчез куда-то и появился снова, держа в руках небольшой ящичек. Из ящичка он извлек еще одну пробирку. В ней лежал алмаз. Фаль откупорил пробирку и осторожно выкатил алмаз мне на ладонь. Камень был размером с две спичечные головки, его поверхность была неровной, словно оплавленной каким-то подземным жаром. Над моей ладонью склонились Зайцев, Фаль, Володя, Сек. Они видели его и раньше, но снова смотрели на него, и на их лицах было такое выражение, с каким мать смотрит на ребенка.

— Самый крупный из тех, что мы нашли здесь,— пояснил Евгений Ильич.— Есть здесь и алмазы и золотишко. Думаю, скоро можно будет и промышленные разработки начинать. Ну, это уж дело хозяйское, меня-то уже здесь не будет.

— А как же так получилось,— спросил я,— что проект этот давно уже существует и уже искали здесь алмазы и золото, но ничего не нашли и собирались проект закрывать? И вдруг...

— Почему вдруг? — удивился Зайцев.—Здесь была проделана большая работа. У меня были результаты геологической разведки. Я с ними знакомился, и очень внимательно. Важно было решить, где искать.

— И вы...

— И я стал искать. Но не так, как искали здесь раньше. По-другому. Можете написать: применил метод прямых поисков. Все-таки опыт кое-какой есть, не впервые ищем. И, как видите...

Долго был Восточный Сенегал заброшенным краем, бесперспективным для развития экономики, оторванным от главных центров страны. Долго ли теперь он будет оставаться таким?..

Когда я был у Зайцева, туда приехали Луи Александрен и Жан Агасси. В «зале заседаний» они уселись за стол и повели свой профессиональный разговор: о машинах для обработки концентрата, которые были заказаны в Советском Союзе, о сроках обработки его, о транспорте и т. п. Воспользовавшись перерывом, я подошел к Александрену и попросил его сказать, что он думает о проекте и об участии в нем советских специалистов. Он ответил так:

— Советские специалисты принесли нам успех. Раньше здесь, в Восточном Сенегале, ничего не было. Теперь проект открывает возможности для промышленной эксплуатации найденных богатств. При этом я имею в виду участие советских специалистов и на дальнейших этапах работ.

Накануне моего отъезда из лагеря Зайцева над Восточным Сенегалом пошел дождь — предвестник наступления больших дождей. Он шел всю ночь и продолжался утром. Начальство — Жан Агасси — в придачу к «лендроверу» дал мне еще и грузовик с лебедкой, на случай, если мы застрянем.

На прощание Зайцев — мы перешли на «ты» — сказал мне:

— Будешь писать — не забудь сказать, что живем мы здесь очень дружно. Все — и сенегальцы, и мы, русские, и вот он, швейцарец. И про Дмитриева Владимира Ивановича не забудь. Да, и еще: может, захватишь письмишко, а?

...Мы тронулись в путь. В саванне, там, где были высохшие русла, бежали бурные коричневые потоки. В одном из них застрял грузовик, в другом — «ленд-ровер». Пришлось вылезать под дождь, откапываться, ломать ветки и подсовывать их под колеса. Наконец удалось выбраться.

Я подумал о том, что если доведется попасть сюда еще раз, то дороги здесь будут, наверное, другими.



Мегрэ и старая дама

Роман

Жорж СИМЕНОН

Рисунки П. ПИНКИСЕВИЧА.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ИСПОВЕДЬ АРЛЕТТЫ

— Заходите ко мне, когда вам будет угодно, господин Мегрэ,— говорила Валентина Бессон.— Я всегда к вашим услугам. Я вам так обязана, что вы приехали по моей просьбе из Парижа. Вы не слишком сердитесь, что я побеспокоила вас из-за этой запутанной истории?

Разговор шел в саду у калитки. Вдова Леруа все еще ждала хозяйку, которая обещала помочь ей внести мебель в комнату Розы. Был момент, когда Мегрэ чуть не предложил свою помощь,— настолько не представлял он себе Валентину ворочающей тяжести.

— Я сама не ожидала, что буду так настаивать на вашем приезде. У меня теперь и страх пропал.

— Мадам Леруа переночует у вас?

— О нет. Через час она уйдет. Сын ее служит на железной дороге, ему двадцать четыре года, а она все возится с ним, как с ребенком. Он скоро вернется, потому ей и не сидится на месте.

— Вы будете ночевать одна?

— Мне это не впервые.

Он толкнул калитку, которая чуть скрипнула. Солнце садилось за морем и заливало дорогу желтым, уже переходящим в багровый светом. Поросшая по обочинам кустарником и крапивой, дорога не была асфальтирована, ноги утопали в пыли, и это снова напомнило ему детство.

Чуть ниже дорога сворачивала, и как раз на повороте он заметил силуэт женщины, медленно поднимавшейся ему навстречу.

Она шла спиной к солнцу и была одета в темное. Он узнал ее, хотя никогда не видел. Бесспорно, это была Арлетта, дочь старой дамы. Она казалась ниже ростом и миниатюрнее матери, но была так же изящна, словно создана из того же дорогого и редкого материала. Ее огромные глаза были такого же редкого, почти неестественного голубого цвета.

Узнала ли она комиссара, фотографии которого часто появлялись в газетах? Или, встретив на дороге по-городскому одетого незнакомца, решила про себя, что это и есть приезжий полицейский? Мегрэ показалось, что, когда они поравнялись, она чуть было не обратилась к нему. Он тоже поколебался: ему хотелось поговорить с ней, но ни время, ни место не были подходящими.

Они лишь молча взглянули друг на друга, и глаза Арлетты ничего не выразили, взгляд ее был печальным и отрешенным. Мегрэ обернулся, когда она скрылась за кустами, потом двинулся дальше, к окраине Этрета.

Инспектор Кастэн встретил его возле витрины с почтовыми открытками.

— Я ждал вас, комиссар. Только что принесли донесения. Они у меня в кармане. Хотите взглянуть?

— Прежде я хотел бы выпить холодного пива.

— Она вас ничем не угостила?

— Она потчевала меня таким старым и отборным кальвадосом, что мне захотелось выпить чего-нибудь попроще, что лучше утоляет жажду.

Солнце клонилось к закату огромным красным шаром, возвещая о конце сезона. Все более редкие курортники были в шерстяных костюмах: свежий ветер прогнал их с пляжа, и они бесцельно слонялись по улицам.

— Только что приехала Арлетта,— сказал Мегрэ, когда они уселись за круглый столик в кафе на площади перед мэрией.

— Вы видели ее?

— Полагаю, что на этот раз она приехала поездом.

— Она направлялась к матери? Вы говорили с ней?

— Мы встретились на дороге в ста метрах от «Гнездышка».

— Вы думаете, она заночует там?

— Возможно.

— И в доме больше никого нет?

— Ночью, кроме матери и дочери, там никого не будет.

Это встревожило инспектора.

— Надеюсь, вы не заставите меня читать все эти бумаги?— спросил Мегрэ, отодвигая пухлый желтый конверт, набитый документами.— Расскажите прежде о стакане. Ведь это вы нашли и упаковали его?

— Да, он стоял на тумбочке в комнате служанки. Я узнавал у мадам Бессон, тот ли это стакан, в котором было лекарство. Ошибка исключена, это единственный стакан цветного стекла, уцелевший от старого сервиза.

— Отпечатки пальцев?

— Старой дамы и Розы.

— А пузырек?

— Пузырек со снотворным я обнаружил в ванной комнате, в аптечке, на том самом месте, которое Валентина мне указала. На нем только отпечатки пальцев старой дамы. Кстати, вы заходили в ее комнату?

Кастэн, так же как и Мегрэ, был поражен комнатой Валентины. Комиссара она пригласила войти туда с наигранной простотой. Она не произнесла ни слова, но ей, конечно, было известно, какой эффект производит эта комната.

Весь дом был обставлен со вкусом и даже некоторой изысканностью, поэтому так странно было очутиться вдруг в комнате отчаянной кокетки, где стены оказались обтянутыми кремовым атласом, а на огромной кровати лениво нежился персидский кот голубоватой масти, едва приоткрывший глаза навстречу вошедшим.

— Такая обстановка нелепа для старой женщины, не так ли?

Когда же они прошли через ванную комнату, облицованную желтым кафелем, она добавила:

— Вероятно, это объясняется тем, что в молодости у меня никогда не было своей комнаты, спала я вместе с сестрами в мансарде, а умывались мы во дворе у колодца. В Париже на авеню Иены Фернан велел облицевать мою ванную розовым мрамором, все аксессуары были из серебра, а в ванну-бассейн вели три ступеньки.

Комната Розы была пуста, по ней гулял сквозняк, надувая тюлевые занавеси, как кринолиновые юбки. Натертый воском пол, цветастые обои на стенах...

— Что говорит судебный врач?

— Отравление бесспорно. Сильная доза мышьяка. Снотворное не имеет никакого отношения к смерти прислуги. В заключении говорится также, что жидкость должна была сильно горчить на вкус.

— Валентина тоже говорила об этом.

— И все же Роза выпила. Взгляните-ка на человека, который подходит к писчебумажному магазину на той стороне улицы. Это Тео Бессон.

Тео оказался высоким костлявым человеком лет пятидесяти, с резкими и правильными чертами лица. На нем был костюм шотландского букле цвета ржавчины, что делало его похожим на англичанина. Непокрытая голова, редкие седые волосы.

Он обратил внимание на двух мужчин. С инспектором он был уже знаком и наверняка узнал комиссара Мегрэ. Как и Арлетта, он поколебался, но затем слегка поклонился и скрылся в магазине.

— Вы его допрашивали?

— Мимоходом. Спросил, не хочет ли он что-нибудь сообщить мне и как долго намеревается пробыть в Этрета. Он ответил, что собирается остаться в городе до закрытия отеля, то есть до 15 сентября.

— Как он проводит время?

— Много ходит по берегу моря. Ходит один, сосредоточенно вышагивая, как немолодые уже люди, старающиеся сохранить фигуру. Около одиннадцати утра купается, а остальное время проводит в баре казино или в бистро.

— Много пьет?

— Дюжину стаканов виски в день, но пьяным как будто не бывает. Прочитывает пять-шесть газет. Изредка играет в казино, но никогда не присаживается к столу.

— Больше ничего не известно о нем?

— Ничего сколько-нибудь интересного.

— Тео Бессон не встречался с мачехой после воскресенья?

— Насколько мне известно, нет.

— С кем же он виделся? Расскажите-ка мне,

Продолжение. См. «Огонек» №№ 42,43.

что происходило в понедельник. Я примерно знаю, как развивались события в воскресенье, но понедельник представляю себе плохо.

Он знал, как Валентина провела вторник. Она сама рассказала ему об этом: рано утром покинула «Гнездышко», оставив там одну мадам Леруа, и первым поездом уехала в Париж; такси доставило ее до набережной Орфевр, где она беседовала с комиссаром.

— После этого вы заехали к дочери?— сразу спросил он у нее.

— Нет. А зачем?

— Разве, приезжая в Париж, вы не видитесь с ней?

— Редко. У них своя жизнь, у меня — своя. Кроме того, мне не нравится квартал Сент-Антуан, где они живут, так же как и их мещанская квартира.

— Что же вы делали в этот день?

— Пообедала в ресторане на улице Дюфо — я и прежде любила там поесть,— сделала две-три покупки в районе площади Мадлен, а потом поездом вернулась обратно.

— Ваша дочь знала, что вы были в Париже?

— Нет.

— Шарль Бессон тоже не знал?

— Я не говорила ему о своем намерении.

И вот теперь Мегрэ хотелось узнать от Кастэна, что произошло в понедельник.

— В «Гнездышко» я явился к восьми утра,— сказал Кастэн.— Всех в доме, как вы можете представить, лихорадило.

— Кто там был?

— Мадам Бессон, конечно.

— Как она была одета?

— Как и всегда, в обычном платье. Там была и ее дочь, непричесанная, в домашних туфлях, и доктор Жолли, давний друг семьи, спокойный, уравновешенный мужчина средних лет. В комнате находился еще старик садовник, пришедший, по-видимому, незадолго до меня. А Шарль Бессон опередил меня буквально на несколько шагов.

— Кто вам рассказывал о случившемся?

— Валентина. Доктор время от времени прерывал ее, уточняя некоторые детали. Она сказала мне, что сама позвонила Шарлю. Известие это его очень взволновало, буквально потрясло. Но, узнав, что журналисты пока еще не нагрянули и соседи ничего не знают, он немного успокоился. Вы только что видели его брата. Они похожи, только Шарль полнее и менее подтянут. В доме нет телефона, это усложнило мне работу: чтобы связаться с Гавром, я несколько раз вынужден был выезжать в город. Доктора ждали больные, и он ушел первым.

— Родителей Розы не известили?

— Нет. О них, казалось, и не вспомнили. Я сам ездил в Ипор и сообщил им. Отец был в море. Брат с матерью поехали вместе со мной.

— Как же выглядела встреча?

— Скорее плохо. Мать так смотрела на мадам Бессон, словно та повинна в том, что случилось. А брат, которому Шарль Бессон что-то плел, рассвирепел:

— Нужно выяснить правду. И не думайте, что я позволю прикрыть дело, хотя у вас и длинные руки!

Они хотели увезти тело в Ипор. И лишь с трудом мне удалось убедить их, что прежде его необходимо доставить в Гавр для вскрытия. Тем временем на велосипеде приехал отец Розы. Он никому не сказал ни слова. Приземистый, коренастый, крепко скроенный и очень сильный физически, он тут же увел своих, как только тело погрузили в фургон. Шарль Бессон предложил отвезти их в своей машине, но они отказались и ушли пешком все трое, во главе со стариком, который даже не сел на свой велосипед.

Я не могу поручиться, что излагаю все это в точной последовательности. Стали приходить соседи, затем жители городка заполнили сад. Я был наверху вместе с Корню из сыскной полиции, который фотографировал и снимал отпечатки.

Когда около полудня я спустился вниз, Арлетты уже не было. Ее мать сказала, что она уехала в Париж, опасаясь, что муж ее будет беспокоиться. Шарль Бессон оставался до трех часов пополудни и затем вернулся в Фекан.

— Он вам что-нибудь говорил обо мне?

— Нет. А что такое?

— Он не сказал вам, что собирается просить министра поручить мне следствие по этому делу?

— Он мне ничего не говорил. Кроме, пожалуй, того, что постарается договориться с газетами. Вот как будто и все на понедельник. Ах, да! Вечером на улице мне показали Тео Бессона, и я перекинулся с ним несколькими фразами.

«— Вам известно, что произошло в «Гнездышке»?— спросил я его.

— Мне рассказали об этом.

— Чем вы можете помочь следствию?

— Абсолютно ничем».

Он был очень сдержан, замкнут. Тогда-то я его и спросил, как долго он намеревается пробыть в Этрета. Ответ его вы знаете. Теперь, если я вам не нужен, я, пожалуй, поеду в Гавр и составлю рапорт. Я обещал жене быть к ужину, у нас сегодня гости.

Машину Кастэн оставил у отеля, и Мегрэ проводил его по тихим улицам, откуда временами на перекрестках открывался вид на море.

— Вас не тревожит, что Арлетта ночует сегодня у матери и обе они будут одни в доме?— спросил Кастэн.

Чувствовалось, что он озабочен невозмутимостью Мегрэ, ему все казалось, что комиссар не принимает этого дела всерьез.

По мере того как солнце садилось и крыши домов словно охватывало пламя, море местами уже становилось холодным и зеленым и весь мир по эту сторону от заката, казалось, медленно погружается в ночную тьму.

— К которому часу мне приехать завтра?— осведомился инспектор.

— Не раньше девяти утра. Может, вы позвоните в парижскую сыскную полицию и от моего имени попросите выяснить все, что касается Арлетты Сюдр и ее мужа? Мне бы хотелось также узнать, что поделывает Шарль Бессон, когда бывает в Париже. И, уж поскольку вы этим займетесь, добудьте заодно сведения о Тео. Мне бы не хотелось говорить об этих вещах по телефону отсюда.

Почти все прохожие оборачивались им вслед. Их разглядывали и сквозь стекла витрин. Мегрэ не знал еще, чем займется вечером и как поведет следствие. Время от времени он машинально повторял про себя: «А Роза мертва!»

Лишь о ней одной он ничего еще не знал, если не считать того, что она была дородной девицей с пышным бюстом.

— Кстати,— спросил он у Кастэна, который уже нажимал на стартер,— у Розы, видимо, оставались какие-то личные вещи в ее комнате. Куда они подевались?

— Родные сложили все в чемодан, который принесли с собой.

— Вы осмотрели эти вещи?

— Я не решился; когда вы побываете у них, вы поймете. Принимают они далеко не по-дружески. Подозрительно разглядывают вас и, прежде чем сказать «да» или «нет», обмениваются взглядами.

— Завтра я наверняка встречусь с ними.

— Держу пари, что Шарль Бессон нанесет вам визит. Ведь для того, чтобы вы взялись за это дело, он побеспокоил самого министра!

Кастэн повел свою машину по дороге к Гавру, а Мегрэ, прежде чем вернуться в отель, направился к казино, терраса которого возвышалась над пляжем. Вышло это непроизвольно. Он подчинился безотчетному желанию полюбоваться закатом, которое всегда возникает у горожан, оказавшихся на море.

У моря собрались все курортники, остававшиеся еще в Этрета. Девушки в светлых платьях, несколько старушек — все они подстерегали знаменитый зеленый луч, который должен появиться над волнами как раз в тот момент, когда огненный шар скроется за горизонтом. Мегрэ всячески напрягал зрение, но так и не увидел зеленого луча. Войдя в бар, он услышал очень знакомый голос:

— Что будете пить, комиссар?

— Чарли! Вот так встреча!

С этим барменом он познакомился в Париже в одном из кабачков на улице Дону и был удивлен, увидев его здесь.

— Я не сомневался, что именно вы займетесь этим делом. Что вы о нем думаете?

— А вы?

— Я думаю, что старой даме здорово повезло, а девчонка пала жертвой.

Мегрэ спросил рюмку кальвадоса: он ведь находился в Нормандии и уже начал с кальвадоса. Чарли занялся другими клиентами. Вошел Тео Бессон, сел на высокий табурет у стойки и развернул парижскую газету, которую, видимо, только что купил на вокзале.

За исключением нескольких еще розовеющих облачков, весь мир за окнами потерял окраску. Мглистая бездна неба нависла над бесконечностью моря.

«А Роза мертва».

Мертва, потому что выпила лекарство, ей не предназначавшееся и абсолютно ей ненужное.

Разомлев от кальвадоса, Мегрэ побродил еще немного и направился к своему отелю, фасад которого белел в сумерках. Миновав зеленую аллейку, он толкнул дверь и по красной ковровой дорожке дошел до конторки, чтобы взять ключ. Администратор наклонился к нему и доверительно шепнул:

— Вас ждет дама, уже давно.

И взглядом указал в угол холла, где стояли кресла, обитые красным бархатом.

— Я сказал ей, что не знаю, когда вы вернетесь, и она мне ответила, что подождет. Это...

Он почти шепотом произнес имя, и Мегрэ не расслышал. Но, обернувшись, он узнал Арлетту Сюдр, которая уже вставала с кресла.

Еще более отчетливо, чем в предыдущую встречу, бросалась в глаза ее элегантность, возможно, потому, что здесь она была единственной женщиной, одетой по парижской моде, в шляпке, напоминавшей время аперитивов где-нибудь в районе Мадлен.

Он пошел ей навстречу не слишком охотно.

— Вы меня ждете? Комиссар Мегрэ.

— Вы уже знаете, что я Арлетта Сюдр?

Он слегка кивнул, давая понять, что действительно знает ее. Затем оба помолчали. Она оглядывалась вокруг, как бы намекая, что трудно будет разговаривать в этом холле, где пожилая чета уже смотрит на них, навострив уши.

— Вы, вероятно, хотели бы поговорить со мной наедине? Увы, мы не на набережной Орфевр, и я не представляю, где...

Мегрэ, в свою очередь, оглядел холл. Пригласить ее к себе в номер он не мог. В ресторане, рассчитанном на двести персон, но где сейчас собиралось уже не больше двадцати человек, официантки накрывали столы.

— Пожалуй, самое простое — поужинать вместе. Я смог бы найти отдельный столик.

Более расположенная к разговору, чем он, Арлетта согласилась и, не благодаря его, прошла за ним в пустой еще зал.

— Можно поужинать?— спросил он официантку.

— Через несколько минут. Пожалуйста, садитесь. Вас двое?

— Одну минуту. А что можно пока выпить?

Он вопросительно посмотрел на Арлетту.

— Мартини,— произнесла она, едва шевеля губами.

— Два мартини.

Он по-прежнему чувствовал себя неловко, и не потому только, что в прошлое воскресенье какой-то мужчина провел часть ночи в ее комнате. Просто она принадлежала к тому типу красивых женщин, с которыми мужчины, сидя в ресторане, опасливо поглядывают на входящих, боясь встретить знакомых. А он пришел сюда поужинать с ней.

Она спокойно разглядывала Мегрэ, не помогая ему выйти из затруднительного положения, словно не ей, а ему нужен был этот разговор.

— Итак, вы возвратились из Парижа,— произнес он, потеряв наконец терпение.

— Вы догадываетесь, почему?

Она была привлекательней матери и в отличие от Валентины не старалась понравиться, а держалась отчужденно, и глаза ее отнюдь не излучали теплоты.

— Если не догадались, могу вам сказать.

— Расскажите мне про Эрве.

Им принесли мартини, она пригубила из рюмки, достала из черной замшевой сумки платок, машинально взялась за тюбик губной помады, но не воспользовалась им.

— Что вы намерены делать?— спросила она, смотря прямо ему в глаза.

— Я не совсем понимаю вас.

— Я не искушена в подобного рода вещах, но мне приходилось читать газеты. Когда случается что-либо вроде того, что произошло в воскресенье, полиция, как правило, вмешивается в личную жизнь всех, кто имеет хоть какое-нибудь отношение к этому делу. При этом не имеет большого значения, виновен ты в чем-либо или невиновен. А так как я замужем и очень привязана к мужу, я спрашиваю: что вы намерены делать?

— С платком?

— Да, если хотите.

— Ваш муж знает о случившемся?

Ее губы дернулись гневно и нетерпеливо, и она бросила:

— Вы разговариваете совсем как моя мать.

— Но ваша мать полагает, что ваш муж, должно быть, осведомлен, как вы... проводите время вне дома!

Она презрительно усмехнулась.

— Вы все стараетесь выбирать выражения, не так ли?

— Если вам угодно, я буду называть вещи своими именами. Судя по тому, что вы мне только что сказали, ваша матушка догадалась, что вы, как говорится, наставляете рога своему мужу?

— Не знаю, сама ли она догадалась. Мне, во всяком случае, она это сказала.

— Но и я взял это не с потолка и теперь хотел бы кое в чем удостовериться. Впрочем...

Она по-прежнему глядела ему прямо в глаза, и Мегрэ надоело церемониться.

— Впрочем, вините только себя в том, что такая мысль может прийти в голову любому. Насколько я знаю, вам тридцать восемь лет, а замуж вы вышли в двадцать. Трудно поверить, что ваше воскресное ночное приключение было у вас первым в жизни.

— Действительно, не первым,— тихо подтвердила она.

— Вам предстояло провести у вашей матушки всего одну ночь, и вы притащили с собой любовника.

— А если мы не часто имеем возможность провести ночь вместе?

— Я не осуждаю. Я только констатирую. Но, согласитесь, все это наводит на мысль, что ваш муж должен быть в курсе...

— Он ничего не знал и пока еще не знает. Поэтому-то я и вернулась сюда.

— Почему вы уехали в полдень в понедельник?

— Я не знала, что произошло с Эрве после того, как он ушел от меня, услышав стоны Розы. И я не представляла себе, что сделает мой муж, узнав обо всем. Поэтому я решила предотвратить его приезд сюда.

— Понимаю. И, очутившись в Париже, вы продолжали беспокоиться?

— Да. Я позвонила Шарлю, который сказал мне, что следствие будете вести вы.

— Это вас успокоило?

— Нет.

— Могу я подавать, господа?

Мегрэ кивнул, и они возобновили разговор, когда суп уже был на столе.

— Мой муж будет поставлен в известность?

— Едва ли. Разве что в случае необходимости.

— Вы подозреваете меня в попытке отравить мою мать?

Его ложка на мгновение остановилась в воздухе. Он изумленно и не без восхищения взглянул на нее.

— Почему вы спрашиваете меня об этом?

— Потому что только я могла подсыпать яд в ее стакан. Точнее, одна я оставалась еще в доме, когда это произошло.

— Не хотите ли вы сказать, что это могла сделать, скажем, Мими перед своим отъездом?

— Мими, или Шарль, или, наконец, Тео. Но подозрение все равно должно пасть на меня.

— Почему все равно?

— Потому что все убеждены, что я не люблю свою мать.

— А это правда?

— Это почти правда.

— Вы не станете возражать, если я задам несколько вопросов? Заметьте, что я это делаю неофициально: ведь это вы захотели встретиться со мной.

— Но вы так или иначе задали бы их мне, так ведь?

— Возможно. Даже наверняка.

Пожилая чета ужинала через три столика от них, а еще подальше женщина средних лет не сводила глаз со своего восемнадцатилетнего

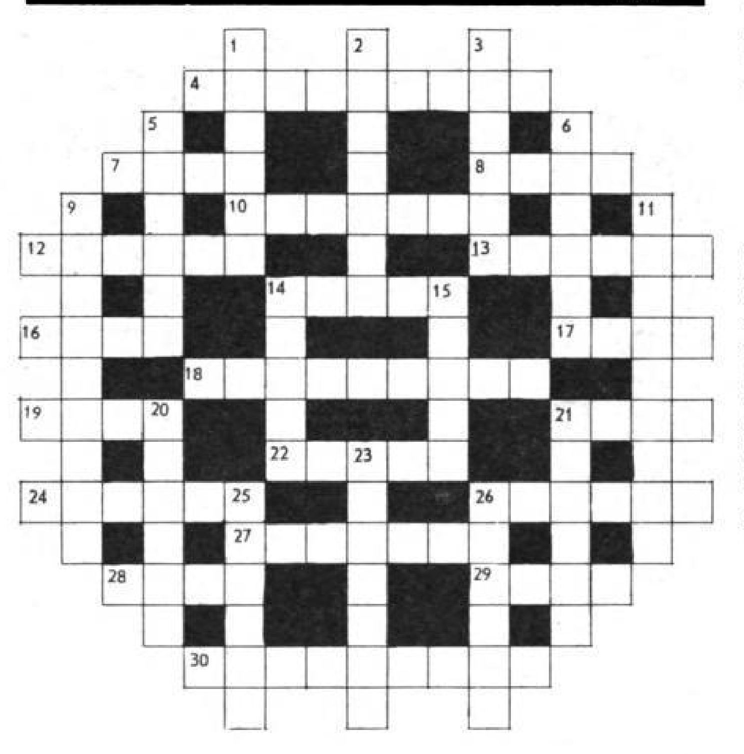
КРОССВОРД

По горизонтали:

4. Поэма А. Блока. 7. Сильный холодный ветер. 8. Город во Франции. 10. Приток Нижней Тунгуски. 12. Часть электрической лампочки. 13. Персонаж романа Н. Островского «Как закалялась сталь». 14. Конверт. 16. Химическое соединение. 17. Областной центр в РСФСР. 18. Композитор и дирижер, народный артист СССР. 19. Парусиновый навес. 21. Лесной хищник. 22. Зодиакальное созвездие. 24. Возвышенность в излучине Волги. 26. Французский живописец XVII века. 27. Футбольная команда. 28. Автомобильный фонарь. 29. Денежная единица Ирана. 30. Самопишущий прибор для регистрации влажности воздуха.

По вертикали:

1. Река, впадающая в озеро Ильмень. 2. Русская народная сказка. 3. Картина из цветного стекла. 5. Старинная мера длины. 6. Шелковая ткань с ворсом. 9. Свод правил, законов по определенному вопросу. 11. Железнодорожная путевая машина. 14. Слой осадочных горных пород. 15. Промысловая морская рыба. 20. Птица отряда журавлей. 21. Народный поэт Азербайджана. 23. Русский математик и механик. 25. Государство в Европе. 26. Архитектурно оформленный главный вход здания.



ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 43

По горизонтали:

3. Константиновка. 8. Опушка. 11. Каракал. 12. Реактор. 14. Юнга. 15. «Призыв». 16. Рави. 17. Транспозиция. 21. Фуко. 22. «Гамлет». 24. Айва. 25. Центнер. 26. «Свисток». 27. Батист. 28. Адмиралтейство.

По вертикали:

1. Футбол. 2. Гончаров. 3. Квартал. 4. Алатырь. 5. Реконструкция. 6. Боровиковский. 7. Эксперимент. 9. Шлюз. 10. Жаботинский. 13. Ярус. 18. Змея. 19. Ровница. 20. Бартоло. 22. Гербарий. 23. «Март». 26. Стайер.

На первой странице обложки: Костя Поправкин из Константиновского равелина (см. в номере очерк «Рыцари Севастополя»).

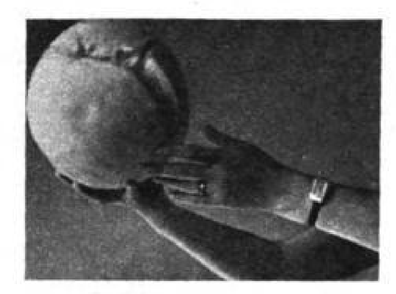
Фото А. Бочинина.



На последней странице обложки: Неподалеку от Констанцы, на пустынном черноморском берегу, вырос великолепный курорт Мамая с десятками многоэтажных отелей, ресторанами, магазинами. Четырехкилометровый пляж покрыт тончайшим нежным песком. Дно моря пологое, мягкое.

Фото Б. Иванова.





ВЫДУМКА ПРИРОДЫ

Трудно догадаться, что изображено на снимке. Этот шар, найденный в Нижнем парке Петродворца, оказался грибом-дождевиком. Весил он 650 граммов.

Г. Снытко

КУРТКА-ОЧКИ

Дом мод в Кельне предложил новый фасон куртки, в воротник которой вставлены противосолнечные стекла.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОТОРОЛЛЕР

Перед вами самый маленький мотороллер в мире. Его мотор питается электрическим током от двух шестивольтовых батарей. Мотороллер развивает скорость до 40 километров в час.



сына, ухаживая за ним, как за ребенком. Еще с одного стола доносились взрывы смеха: там сидела компания девушек.

Мегрэ и его собеседница говорили вполголоса, не прерывая ужина, разговор их протекал внешне спокойно, невозмутимо.

— И давно вы недолюбливаете свою мать?

— С того дня, когда мне стало ясно, что она никогда меня не любила, что я была для нее обузой и, по ее мнению, испортила ей жизнь.

— А когда вы сделали это открытие?

— Еще девочкой. Впрочем, я ошибаюсь, говоря лишь о себе. Правильней было бы сказать, что моя мамаша никогда никого не любила, даже меня.

— И вашего отца тоже?

— Сразу же после смерти он был забыт навсегда. Попробуйте найти в доме хотя бы одну его фотографию. Вы только что осмотрели весь дом. Вы были и в комнате матери, вас там ничто не удивило?

Он постарался вспомнить, но признался:

— Нет.

— Это потому, что вы, наверное, не часто бываете в домах старых женщин. У них на стенах всегда развешана масса фотографий.

Она была права. Но тут он припомнил портрет, портрет старика в роскошной серебряной рамке на тумбочке в спальне.

— Мой отчим,— ответила она, когда он сказал об этом.— Но, во-первых, он поставлен там из-за красивой рамки. А во-вторых, он все-таки бывший владелец «Жюва», а это что-нибудь да значит. И, наконец, половину своей жизни он был на побегушках у моей матери и дал ей все, что она имеет. А мой портрет вы там видели? Или портреты моих братьев? У Шарля, например, страсть фотографировать своих детишек и рассылать фотографии родственникам. Матушка складывает эти портреты в ящик вместе с огрызками карандашей, старыми письмами, катушками и прочей дребеденью. Зато на стенах дома развешаны ее собственные фотографии, фотографии ее автомобилей, замка, яхты, ее кошек, особенно кошек.

— Я вижу, вы действительно ее не любите.

— Кажется, я уже не сержусь на нее.

— Что вы имеете в виду?

— Это не имеет значения. Однако, если ее и пытались отравить...

— Простите, вы сказали е с л и?..

— Предположим, что это моя манера разговаривать. К тому же о моей матери никогда ничего не знаешь наверняка.

— Вы намекаете на то, что она могла симулировать попытку отравить ее?

— Это выглядело бы неправдоподобно. Ведь яд оказался в стакане в достаточно сильной дозе — смертельной, и бедняжка Роза умерла.

— Ваши братья и невестка разделяют ваше, ну, скажем, равнодушие, если не неприязнь по отношению к матери?

— У них другие причины. Мими, например, не любит мать за то, что из-за нее мой отчим потерял состояние.

— И это действительно так?

— Не знаю. Бесспорно одно: он тратил на нее огромные деньги и как бы хотел поразить ее этим.

— Как складывались ваши отношения с отчимом?

— Почти сразу после замужества мамаша отправила меня в Швейцарию, в шикарный и очень дорогой пансионат. Сделано это было под тем предлогом, что мой отец болел в свое время туберкулезом и поэтому якобы необходимо было наблюдать за моими легкими.

— Почему же «под предлогом»?

— За всю жизнь я ни разу не кашлянула. Ее просто стесняло присутствие взрослой дочери. А может, она ревновала.

— К кому?

— Фернан Бессон старался баловать меня. Когда я возвратилась в Париж, мне было семнадцать лет, и он начал настойчиво обхаживать меня.

— Вы хотите сказать...

— Нет. Не сразу. Когда это случилось, мне уже шел девятнадцатый год. Однажды вечером я одевалась, чтобы пойти в театр. Он вошел в мою комнату, когда я еще была не совсем готова.

— Что же произошло?

— Ничего. Он потерял голову, и я дала ему пощечину. Тогда он упал на колени и буквально со слезами умолял меня ничего не говорить матери и не уходить из дому. Он поклялся мне, что это был лишь приступ безрассудства и он никогда не повторится.

Помолчав, она холодно добавила:

— Он был смешон, во фраке и манишке, выбившейся из-под жилета. Потом он поспешно вскочил, потому что в комнату входила горничная.

— И вы не ушли из его дома?

— Нет.

— Вы тогда были влюблены в кого-нибудь?

— Да.

— В кого?

— В Тео.

— А он?

— Он не обращал на меня внимания. На первом этаже у него была своя комната, и я знала, что, несмотря на запрет отца, он приводит к себе женщин. Целыми ночами я следила за ним. Одна из них, танцовщица из театра Шатле, одно время бывала у него почти каждую ночь. Как-то я спряталась у него в комнате...

— И устроили ему сцену?

— Не помню точно, что я выкинула, но танцовщица ушла в бешенстве, я же осталась наедине с Тео.

— И что же?

— Он не хотел. Я почти принудила его.

Она говорила вполголоса и так непринужденно, что казалось невероятным, почти фантастическим то, что она рассказывала, особенно здесь, в курортном ресторанчике для отдыхающих буржуа средней руки. Официантка в черном платье и белом фартучке время от времени прерывала их разговор.

— А что потом?— спросил Мегрэ.

— «Потом» уже не было. Мы избегали друг друга.

— Почему?

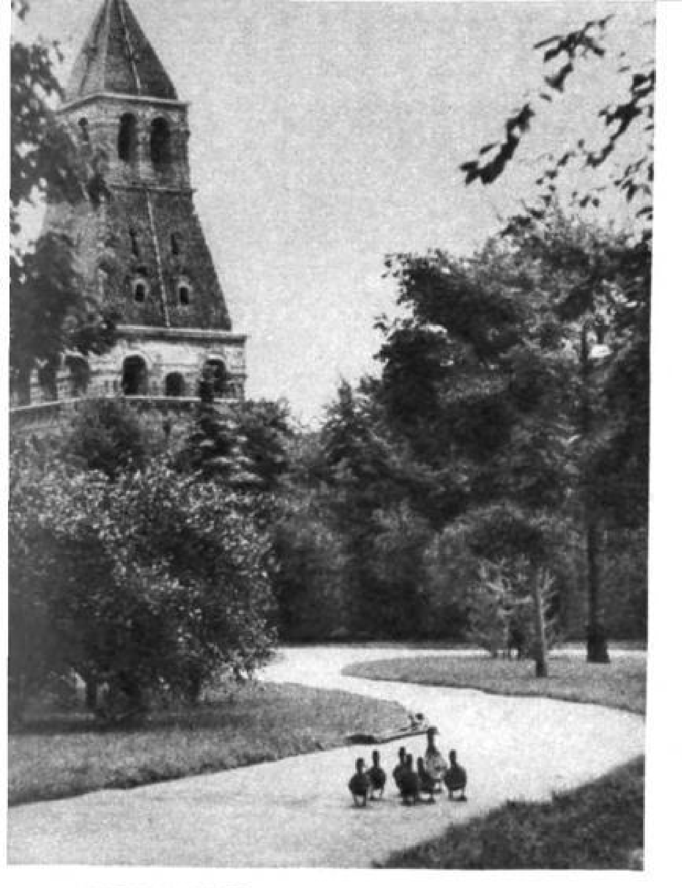
— Он, наверно, потому, что чувствовал себя неловко.

— А вы?

— Потому что мне опротивели мужчины.

— И поэтому вы вышли замуж так внезапно?

— Это произошло не сразу. Больше года я спала со всеми мужчинами, которые попадались на пути.



НЕОБЫЧНЫЕ ЭКСКУРСАНТЫ

Второй год дикая утка меняет тихие, просторные водоемы Подмосковья на шумный центр города. Этим летом она вывела утят в кремлевском саду.

Эти необычные экскурсанты много доставили хлопот садовникам. Утята жили строго по распорядку. Рано просыпались и с нетерпением ожидали завтрака. Два раза в день утка летала на Москву-реку, а утята в это время молча сидели в траве и ожидали маму. Осенью утиная семья улетела в теплые края.

Н. Седых



— Из-за отвращения?

— Да. Вам не понять меня.

— А затем?

— Я поняла, что это может плохо кончиться. Мне все опротивело, и я решила с этим покончить.

— Выйдя замуж?

— Пытаясь жить, как все.

— Но замужество ничего не изменило?

Взглянув на него серьезно, она произнесла:

— Да, это так.

Оба долго молчали. С дальнего стола доносился хохот девушек.

— В первый же год?

— В первый месяц.

— Почему?

— Не знаю. Потому что я не могу иначе. Жюльен ничего не подозревает, и я соглашусь бог знает на что, лишь бы он так и оставался в неведении.

— Вы любите его?

— Может, это вам и смешно. Да! Во всяком случае, это единственный мужчина, которого я уважаю. У вас есть еще вопросы ко мне?

— Когда я переварю все, что вы мне сказали, возможно, они появятся.

— Что ж, вы можете не торопиться.

— Ночевать вы думаете в «Гнездышке»?

— Я не могу поступить иначе. Что скажут, если я остановлюсь в отеле? А мой поезд будет только утром.

— Вы повздорили с матерью?

— Когда?

— Сегодня днем.

— Мы просто высказали друг другу правду в лицо, но, как всегда, спокойно. Это уже превратилось в игру, когда мы остаемся вдвоем.

Она отказалась от десерта и, перед тем как встать из-за стола, подкрасила губы, глядясь в маленькое зеркальце, и попудрилась крошечной пуховкой.

Ее глаза были самыми светлыми в мире, еще более непорочной голубизны, чем глаза Валентины. Но они были так же пусты, как и недавнее небо, в котором Мегрэ тщетно пытался увидеть зеленый луч.

Продолжение следует.

БОГАТЫРИ



Леонид Жаботинский блестяще завершил выступление всей команды. Слева от него — Роберт Беднарский (США), справа — Станислав Батищев (СССР).

Фото АДН — ТАСС.

— Опять то же самое. Опять будут говорить, что это был авантюризм. Но какой же это авантюризм, если Ян отлично подготовлен и мог набрать даже 500? — так говорил о неудаче эстонца Тальтса тренер нашей сборной команды Аркадий Никитич Воробьев.

Никогда не забуду этого поистине трудного часа. Вся советская делегация собралась в одной из комнат «Динамо-спортхалле». Могучие атлеты устало, будто вмиг ослабев, сидели на кроватях, и тишину нарушал только хриплый, с пришептыванием голос самого неудачника: «Не знаю, как получилось. Не знаю. На тренировках жал 160, а тут 147,5...»

Да, не сумев одолеть в жиме этот вес, Тальтс после первого же движения выбыл из борьбы.

Самое удивительное, что и сейчас еще никто не может назвать настоящей причины его срыва. Может, излишне мал был вес? Как это ни парадоксально, такое бывает. Вот даже опытный Леонид Жаботинский заставил дрогнуть сердца своих многочисленных почитателей, потому что только в третьей попытке сумел взять в рывке «элементарный» для себя вес — 160 килограммов. А может быть, один год в сборной маловато? Ведь такая же история произошла в прошлом году с Владимиром Беляевым, которого на этот раз назвали лучшим атлетом чемпионата. Девять подходов и ни одного неудачного! Золотая медаль с мировым рекордом в сумме троеборья для средневесов — 485 килограммов.

Неудача нашего 22-летнего полутяжеловеса была единственной. Советские богатыри победили во всех остальных категориях, кроме полулегкой, где у нас пока нет классного атлета. Но и 5 золотых наград — это поистине триумф. Такого успеха, кажется, не добивалась ни одна команда, кроме советской. А надо учесть, что борьба за первенство была в Берлине невиданной по своей остроте. И тут наши чемпионы показали себя с самой лучшей стороны. Они были отлично подготовлены во всех отношениях: не только в атлетическом и техническом, но и — что оказалось в Берлине необычайно важным — в психологическом.

Уже на старте чемпионата в состязаниях атлетов легчайшего веса сюрприз преподнес венгр Имре Фельди. В жиме он выиграл у Алексея Вахонина 12,5 килограмма. И хотя главное для Алексея было не получить в жиме «баранку», как в прошлом году, он сам говорил мне потом, что испугался. Но это потом, а на соревнованиях и виду не подал. Проявив поистине железную выдержку, наш маленький рыцарь «железной игры» отыграл в рывке 5 килограммов, а в толчке не только догнал, но и опередил соперника, подняв 142,5.

А Евгений Кацура, преподнесший зрителям в сравнительно новом для себя весе — легком — новый мировой рекорд в троеборье — 437,5! А Виктор Куренцов, который победил в драматической борьбе со знаменитым поляком Вольдемаром Башановским, обладателем всех высших спортивных титулов в легком весе, перешедшим в следующую весовую категорию?

В рывке Куренцов только при третьем подходе поднял всего 127,5 килограмма и проигрывал после двух движений не только Вольдемару, но и второму призеру прошлогоднего мирового чемпионата — Вернеру Дитриху (ГДР). Виктор победил только благодаря тому, что сумел одолеть в толчке, казалось, невероятный вес — 182,5 килограмма. Причем сделал это в самой последней попытке, когда все его соперники закончили выступление, а Башановский, имевший великолепную сумму — 447,5 килограмма, — уже принимал поздравления.

Владимир Беляев встретил сразу несколько опаснейших конкурентов и неожиданно в первую голову — венгра Дьезе Вереша, который не выступал на международной арене с 1964 года. После двух движений оба шли нога в ногу. Первым, когда на штанге было уже 180 килограммов, начал толчок Вереш. Он взял этот вес, но тут же сделал это и Беляев. 185 — Вереш. И столько же Беляев. Что делать Верешу? Он просит 190. Это больше мирового рекорда самого Вереша. И венгр берет этот вес. Но и Беляев — тоже. Вереш ограничивается ролью рекордсмена мира в толчке (он первый поднял 190, и у него преимущество), а Беляев — чемпион и новый рекордсмен мира в троеборье (его собственный вес меньше).

Наконец, Жаботинский. Он был потрясен неудачей в рывке. Зато оставшуюся силу отдал в толчке, установив мировой рекорд — 218 килограммов. И в итоге победа!

Да, штангисты показали пример самообладания многим нашим неудачникам нынешнего года: легкоатлетам, гребцам, волейболистам...

На нынешнем чемпионате впервые проверялось с помощью специальных анализов, не пользуются ли штангисты допингом. Но допингом наших богатырей была лишь воля к победе.

Виктор БАБКИН

Берлин.

Поздравляем Андрея Старостина!



Один из знаменитых футбольных братьев — Андрей Петрович Старостин — отметил свое шестидесятилетие. Это для спорта возраст астрономический, но имя Андрея Старостина и сегодня неотделимо от советского футбола. Он плодотворно работал в Федерации футбола СССР, немало сделал для нашей сборной, являясь начальником команды, сейчас он возглавляет футбол в профсоюзах. А как интересно пишет Андрей Петрович о своей любимой игре! Много лет его статьи и обозрения — желанные гости на страницах газет и журналов, его книга о футболе выдержала уже три издания.

В свое время Андрей Старостин занимал в команде «Спартак» место центрального полузащитника. Он был блестящим дирижером атак и организатором защиты. И в современном, сегодняшнем футболе Старостин разбирается так же тонко и точно. Недавно за круглым столом журнала «Огонек» он анализировал наши успехи и неудачи на чемпионате мира в Англии.

У Андрея Старостина много друзей и среди спортсменов и среди любителей футбола. У него много друзей и среди читателей журнала «Огонек». Нам приятно от своего и от их имени поздравить заслуженного мастера спорта и литератора Андрея Старостина с днем рождения.

ОСЕНЬ — СТРАДНАЯ ПОРА

А. СТАСЬ, собкор «Огонька»

Фото А. УЗЛЯНА.

Желтая листва устилает шлях. Пустые поля. Осень. Мы едем в Зеленков, в колхоз «Россия», что на Черкасщине. Едем навстречу сельской осени, неспешным деревенским делам после напряженной страды.

Первая улица в Зеленкове будто лесная тропа. В колхозном парке бушует листопад. Тихо.

Тихо? Ну уж нет. Работа идет вовсю. В больнице, например, заседает медицинский совет. Врачи съехались со всего района. Гостей принимают главврач, хирург Иван Максимович Гайдаманчук и председатель колхоза Илья Сергеевич Васильченко. Илья Сергеевич—потомственный хлебороб, колхоз возглавлял с 1934 года. Был на фронте, потом остался на военной службе. В село вернулся после того, как колхозники написали в Москву письмо, просили отпустить из армии их довоенного председателя. Недавно Илье Сергеевичу присвоили звание Героя Социалистического Труда.

Заседает районная медицина, выясняет сложные свои проблемы. Вопросы сыплются градом и все больше в адрес председателя колхоза. Ничего удивительного в том нет. Больница-то колхозная, и здание, и парк, и коттеджи трехэтажные для медиков — все колхозники строили. Не было раньше на Украине колхозных больниц. Зеленковцы подали пример. Сейчас и другие строят.

Экскурсию по колхозу нам устроил секретарь партийной организации колхоза Владимир Александрович Полещук. Его в селе чаще называют парторгом Володей. Мы много слышали о колхозе «Россия» в Черкассах, но тут еще раз убедились, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Вот школа, здание старое, несовременное. Но неподалеку уже возвышается кирпичный трехэтажный дом. Скоро детвора переберется туда.

На соседней улице опять стройка. Новый клуб. Для всех кружков места хватит. В колхозе хор большой. Капелла бандуристов. Свой духовой оркестр... В нынешнем году колхоз «Россия» вкладывает в культуру и быт 200 тысяч рублей.

— Знаете, с чего начиналось все это в Зеленкове? С приемника детекторного. Мы с его отцом, с Александром,—председатель кивает на парторга Володю,— в двадцатые годы комсомолию в селе поднимали.

Не пришлось Александру Полещуку подсчитывать теперешние доходы колхоза, строить клуб, больницу, школу. Убили кулаки председателя Зеленковского сельсовета. Но его сын, коммунист Владимир Полещук, вместе со старым другом своего отца продолжает теперь его дело. В сейфе рядом с партийными бумагами лежит заветная тетрадка. И все записывает туда парторг: кто коммуну создавал в селе, кто первый трактор повел, первую лампочку Ильича зажег и кто с Отечественной войны не вернулся, кому памятник воздвигнут будет. Старые люди приносят в партийное бюро снимки, документы, волнующие сердце. Это все для колхозного музея.

Жизнь идет. При нас в «комнате счастья» глава сельрады Иван Васильченко поздравлял молодоженов — Михаила Сатановского, колхозного пасечника, и 18-летнюю Дусю Швец. Но не подумайте, что неравный брак. Пасечник вовсе не тот старикан-бородач, каким по привычке еще рисует его наше воображение. Михаил— парень хоть куда, красивый!

Пришла пора свадеб. В книге регистрации браков заполняют графу за графой. С Толей Кутасом, чье имя тоже несколько дней назад появилось в этой книге, мы встретились на тракторном стане. Толя — колхозный инженер. Говорят, его отец поражал односельчан удивительной памятью: самые сложные вычисления производил в уме. Был он колхозным бухгалтером, погиб на фронте, а его сына правление послало в Мелитополь на учебу и все годы платило ему стипендию. Он получил диплом с отличием. Учит колхоз за свой счет и инженера-строителя. В хозяйстве немало строек. Надо соорудить собственный дом отдыха, и новые детские ясли, и ферму. А к новому году сельские мастера спешат закончить Дом животноводов и механизаторов.

А мы-то ехали посмотреть спокойную деревенскую осень... Не вышло. В «России» и осень — страдная пора.



Скоро праздник. У колхозного клуба.



Председатель колхоза И. С. Васильченко и главный бухгалтер С. А. Винник.



Ученый-агроном Николай Андреевич Вергельский и осенью в поле: идет вспашка зяби.

Адрес редакции: Москва, А-15, Бумажный проезд, 14. Рукописи не возвращаются. Оформление И. МИХАЙЛИНА.





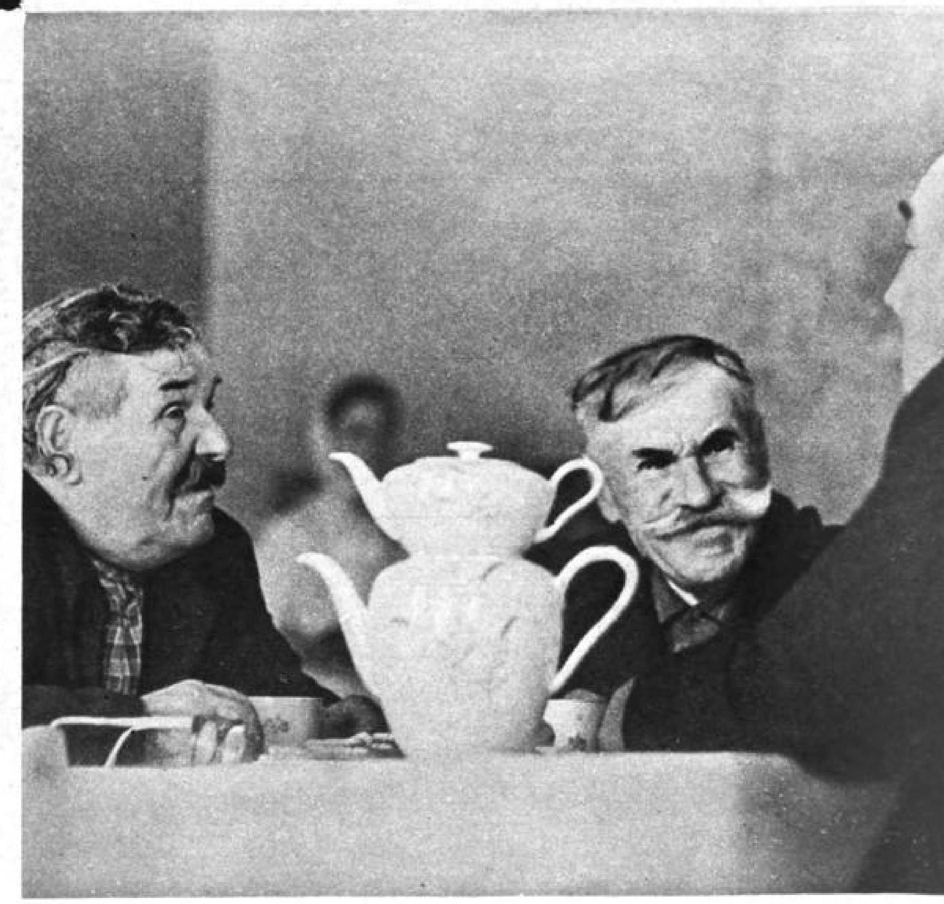
В тракторной бригаде. Инженер колхоза Анатолий Кутас и помощник бригадира Виктор Бондаренко.



На уроке математики. Анна Алексеевна Котик преподает первый год.



В «комнате счастья» идет регистрация брака. Молодожены Михаил Сатановский и Евдокия Швец.



В осенние дни хорошо посидеть в уютной колхозной чайной. Колхозники-пенсионеры Федор Никитович Романенко, Емельян Макарович Цеменко, Матвей Федорович Васильченко.

Телефоны отделов редакции: Секретариата — Д 3-38-61; Отделы: Внутренней жизни — Д 3-37-61; Международный — Д 3-38-63; Искусств — Д 0-46-98; Литературы — Д 3-31-10; Информации — Д 3-32-45; Библиографии — Д 3-38-26; Науки и техники — Д 0-14-70; Юмора — Д 3-32-13; Спорта — Д 3-32-67; Фото — Д 3-39-04; Оформления — Д 3-38-36; Писем — Д 3-36-28; Литературных приложений — Д 3-30-39.

А 10736. Подписано к печати 26/X 1966 г. Формат бум. 70×108¹/₈. 2,5 бум. л. — 6,85 печ. л.
Тираж 1 990 000. Изд. № 1933. Заказ № 2835.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. Москва, А-47, ул. «Правды», 24.

Цена номера 30 коп.

Индекс 70663